


T  $\frac{2}{317}$

F<sup>2</sup>  
F317


1847

1





ДѢТСКІЯ СКАЗКИ.



DEPT. OF THE INTERIOR



ДѢТСКІЯ

ЖАЗЖИ.

РАВСКАВАЛЬ

В. П. АВЕНАРИУСЪ.

СЪ 65-Ю РИСУНКАМИ Н. Н. КАРАЗИНА.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ.



5641-0



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія С. Доврольева, Троицкій переулокъ, д. № 32.

1885.

ДРАСКІЯ

КАЗАКА



АННАТАН Н. Н. КАВКАЗСКОЕ



КАВКАЗСКОЕ



2007054938

Доволено цензурою: С.-Петербургъ, 24 Августа 1884 г.



# О ГЛАВЛЕНІЕ.



Нара словъ вмѣсто предисловія . . . . .	стр. VII
---	----------

## ОРИГИНАЛЬНЫЯ СКАЗКИ:

1. Сказка о муравьѣ богатырѣ . . . . .	3
Гл. I. Жатва.	
Гл. II. Потопъ.	
Гл. III. Муравей-богатырь и Соловей-разбойникъ.	
Гл. IV. Набѣгъ.	
Гл. V. Два атамана.	
Гл. VI. Въ короньѣхъ царствѣ.	
Гл. VII. Муравьиное вѣче.	
Гл. VIII. Разгромъ коронника.	
2. Сказка о пчелѣ Мохнаткѣ . . . . .	47
Гл. I. О томъ, какъ Мохнатка на свѣтъ Божій вышла.	
Гл. II. О томъ, что увидѣла Мохнатка въ ульѣ.	
Гл. III. О томъ, какъ Мохнатка въ сборщицѣ попала.	
Гл. IV. О томъ, какъ родился улей.	
Гл. V. О томъ, какъ Мохнаткѣ конецъ пришелъ.	
3. Что комната говорить . . . . .	62

## ПЕРЕСКАЗЫ РУССКИХЪ ПРОСТОНАРОДНЫХЪ СКАЗОКЪ:

	СТРИ.
4. Горе . . . . .	77
5. Хитрая наука . . . . .	87
6. Байка о щукѣ зубастой . . . . .	98
7. Цыганъ-косарь . . . . .	101
8. Солнце, Морозъ и Вѣтеръ . . . . .	107
9. Три копѣчки . . . . .	108
10. Байка о томъ, какъ комаръ убился . . . . .	113
11. Волга и Вазуза . . . . .	116
12. Морозко . . . . .	118
13. Журавль и Цапля . . . . .	126
14. Простофиля (Подборъ народныхъ прибаутокъ) . . . . .	128
15. Жучокъ-знахарь . . . . .	132

## ПЕРЕСКАЗЫ ИНОСТРАННЫХЪ СКАЗОКЪ:

16. Прекрасная Мелузина (По Гёте) . . . . .	141
17. Забытая могила (По Лекандру) . . . . .	152
18. Снѣжный болванъ (По Клетно) . . . . .	159
19. Мальчикъ-зайчикъ (По Годенъ) . . . . .	165
20. Приключеніе въ лѣсу (Изъ Трояна) . . . . .	169
21. Миндаль-двойчатка (Изъ романа Фрейтага: «Прованшан рукопись») . . . . .	175
22. Капелька (По Лазуш) . . . . .	181
23. Связка ключей (Изъ Годенъ) . . . . .	183
24. Миръ домашнихъ (По Лёвишштейну) . . . . .	187
25. Маленькая горбушка (Изъ Лекандра) . . . . .	197



## ПАРА СЛОВЪ

### ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ.



Вскольکو лѣтъ тому назадъ былъ изданъ мною, разошедшейся вслѣдъ затѣмъ въ продажѣ, сборникъ: «Тридцать лучшихъ новыхъ сказокъ». Въ него вошли (въ моемъ пересказѣ) мало или вовсе еще неизвѣстныя русскимъ дѣтямъ сказки русскаго народа и разныхъ авторовъ: русскихъ и иностранныхъ. Выбравъ теперь изъ этого сборника наиболѣе удачныя простонародныя и иностранныя сказки, я присоединилъ къ нимъ и лучшія изъ напечатанныхъ мною послѣ того въ дѣтскихъ журналахъ сказокъ съ заимствованнымъ содержаніемъ, а также изданныя отдѣльно оригинальными мои сказки. Такъ какъ, слѣдовательно, всѣ предлагаемыя здѣсь сказки появляются въ печати во второй, а нѣкоторыя въ третій и четвертый разъ, причемъ болѣе половины ихъ было уже однажды помѣщено въ подобномъ-же сборникѣ, то я счелъ себя въ правѣ назвать настоящее изданіе новымъ.

О трехъ оригинальныхъ сказкахъ нахожу неизлишнимъ упомянуть, что двѣ изъ нихъ: «Сказка о пчелѣ Мохнаткѣ» и «Что комната



говорить» были удостоены каждая первой преміи С.-Петербургскаго Фрѣбелевскаго Общества, а «Сказка о муравьѣ-богатырѣ», послѣ напечатанія въ журналѣ «Родникъ», издана редакціею этого журнала еще и въ отдѣльномъ видѣ.




Хотя нѣкоторые изъ взятыхъ мною простонародныхъ сказокъ, по совершенно самостоятельной ихъ разработкѣ, могли-бы, пожалуй, быть также отнесены къ оригинальнымъ сказкамъ, подобно народнымъ сказкамъ Пушкина, Жуковскаго, Дала и другихъ; но въ виду того, что вполне опредѣленную грань между такимъ самостоятельнымъ пересказомъ и болѣе или менѣе дословными передачами провести довольно трудно, — всѣ заимствованныя мною простонародныя тѣмы отнесены къ одной общей категоріи — пересказовъ.

Точно также и пересказы иностранныхъ сказокъ, за четырьмя исключеніями (№№ 20, 21, 23 и 25), представляютъ въ большей или меньшей степени оригинальную передѣлку.

Въ заключеніе считаю нужнымъ указать на то, что я нарочно не воспользовался уже переведенныхъ на русскій языкъ сборниковъ знаменитыхъ сказочниковъ (Андерсена, Гауффа, братьевъ Гриммовъ, Топеліуса и друг.), а выбралъ исключительно такія иностранныя сказки, которыя, при всемъ ихъ остроуміи и изяществѣ, до сихъ поръ почему-то не были еще пересказаны по-русски.

В. А.








---

ОРИГИНАЛЬНЫЯ СКАЗКИ.

---







# СКАЗКА О МУРАВЬЕВЪ-БОГАТЫРЬ.

— 0 —

I.

Ж а т в я .



Цло время жатвы—какъ у людей, такъ и у муравьевъ-земледѣльцевъ. Вся пшва у подножїи муравейника кишѣла муравьями-жнецами. Одни изъ нихъ сидѣли на верхушкахъ колосьевъ и своими острыми челюстями, какъ серпомъ, срѣзали стебельки сыблыхъ зеренъ дышато риса. Другіе ждали у корней колосьевъ, подхватывали срѣзанныя зерна и, тутъ-же очистивъ ихъ отъ пленки, уносили въ складъ.

\*) Исторїи героя изстоящаго разказа, разумѣется, вымышленны. Въ же подробности, касающіеся домашняго и общественаго быта муравьевъ-земледѣльцевъ и муравьевъ-скотоводовъ, способа веденїя пшвы и проч., согласны съ дѣйствительностью.

Между полосами хлеба были проведены правильные дорожки, которыя лучами сходились къ главнымъ воротамъ муравейника. По краямъ дорожекъ, на опредѣленныхъ дистанціяхъ, были временные склады зеренъ. Срубанные зерна доставлялись жнецами отъ колоса только къ первому складу. Отсюда другіе муравьи, посыльщики, перетаскивали ихъ далѣе, къ слѣдующему складу. Такъ, отъ склада къ складу, зерна поступали, наконецъ, на руки муравьевъ-магазинщиковъ, у входа въ муравейникъ, а тѣ относили ихъ уже внутрь муравейника, въ зимніе амбары и кладовыя.

Вся работа эта производилась мелкими, пестельно-черными муравьями. Но они не были хозяевами муравейника. Хозяевами были крупныя, бронзово-рыжіе муравьи, которыя всей компаніей лѣниво нѣжались на солнышкѣ, на пологомъ скатѣ муравейника. Отсюда, съ вышины, имъ удобно было обозрѣвать всю площадь нивы и наблюдать за чернорабочими.

Между отдыхающими рыжими хозяевами отличалась необычайною величиною и дородностью одна особа. Она, какъ видно, пользовалась особеннымъ почетомъ, потому что возлежала на душистомъ коврикѣ — розовомъ лепесткѣ. То была родительница всѣхъ окружающихъ рыжихъ, мать-муравьяхъ.

И покой ей, точно, быть нуженъ. Все утро пошло у нея на кладку яицъ. Не десятокъ, не сотню и даже не тысячу яицъ положила она: десять тысячъ штукъ ровнехонько! Близкая къ обмороку, выбралась она на вольный воздухъ, отдышаться. Благо, есть цѣлый полкъ опытныхъ дядекъ изъ той-же трудолюбивой породы мелкихъ чернорабочихъ: изъ ячеекъ они выведутъ личинки; свернется личинка въ коконъ — ждуть-ждутъ, сколько нужно, а тамъ выпустить изъ кокона уже готовата, какъ есть, муравья. О, они знаютъ также свое дѣло!



Пригнутая солнышком, мать-муравьяха вздремнула было немножко. Отнувшись, она потянулась своими шестью пухлыми ножками и, шурясь отъ свѣта, окинула все поле соннымъ взглядомъ.

— Это кто же тамъ, дѣтушки?—съ сладкимъ зѣвомъ спросила она, кивая усомъ вдаль.—Вѣдь, это изъ нашей же братьи, рыжихъ?

Она не ошиблась. Вдали, куда указывала она, среди мелкихъ чернокожихъ жнецовъ, рѣзко выдѣлялся своимъ крупнымъ ростомъ и золотисто-бронзовою шкуркой благородный рыжій муравей.

Взобравшись на верхушку колоса, онъ съ видимымъ удовольствіемъ обрываетъ цѣтоножки зеренъ. Но, благодаря своему росту, своей силѣ, онъ работаетъ втрое быстрее чернорабочихъ. Задними ножками онъ держался за стебель, передними притягивалъ къ себѣ то или другое спѣлое зерно; притянувъ, начиналъ крутить его на цѣтоножкѣ, потомъ разомъ обрывалъ цѣтоножку, самъ спираль съ зерна пленку и очищенное уже, такимъ образомъ, зерно бросалъ внизъ. Приставленные къ колосу чернорабочіе муравьи едва успѣвали поочередно относить сброшенные зерна къ ближайшему складу.

— Да, это Грызунъ,—отвѣчать на вопросъ муравьяхи одинъ изъ отдохнувшихъ тутъ же рыжихъ муравьевъ.—Зубы, знать, чешутся.

— Не даромъ же и названъ Грызуномъ,—замѣтила муравьяха:—чуть вышелъ изъ кокона, какъ дядкѣ своему ужъ руку отгрызъ. Зачѣмъ? спросите-ка. Да вотъ такъ, здорово живешь. Крикните-ка его сюда.

— Грызунъ! а, Грызунъ!—крикнули хоромъ свитскіе.

Грызунъ, сидя на колосѣ, оглянулся: его требовала родная мать. Какъ послушный сынъ, онъ безпрекословно спустился на земь и отправился во-своихъ.

— Ты что же это тамъ дѣлать, бабовникъ!—встрѣтила его вопросомъ муравьяха.

— Работать, маменька,—просто отвѣчалъ Грызунъ, отирая потный лобъ.

— Работать! Да ты знаешь ли, что значить работать? Это значить—не такъ вотъ, какъ ты сейчасъ, въ зернамьячки играть: это значить—круглый годъ наблюдать, чтобы сѣмя, заготовленное на посѣвъ, не подмокло, пердевертывать его, обсыпывать, въ сухую погоду выносить на воздухъ. Это значить—въ потѣ лица обрабатывать поле: пропашное жнитво выгрязь, землю взрыхлить и вновь засеять, а покажутся всходы—выпалывать сорныя травы, поддерживать дорожки...

— Все это я готовъ дѣлать, если нужно...

— То-то вотъ! Хорошо, что прибавилъ: «если нужно». На что же у насъ чернорабочіе? Ты у меня, не забудь, голубчикъ, благородный рыжій муравей, коренной земледѣлецъ.

— Да потому-то самому, маменька, что я коренной земледѣлецъ, мнѣ и слѣдовало бы, кажется, служить при мѣромъ пришлымъ чернорабочимъ.

Между рыжими свитскими кругомъ послышался сдержанный смѣхъ. Сама мать-муравьяха, несмотря на свою полноту, приподнялась на локоть.

— Хорошо мальчикъ!—сказала она.—Свободный муравей-плантаторъ хочетъ служить при мѣромъ, и кому же? невольникамъ-неграмъ!

— Но, идь, и у людей ветры уже свободны...—позвоить себѣ возразить Грызунъ.

— Нашель, съ кѣмъ сравнивать! Когда родъ людской рыскалъ еще по дремучимъ лѣсамъ, питался дикими плодами и кореньями, мы, рыжіе муравьи, имѣли ужь свои благоустроенные муравейники, подѣлывали поля, а бурые муравьи-скотоводы завели уже свой молочный скотъ. Но



кромѣ этихъ двухъ вышнихъ породъ — рыжихъ и бурыхъ, солицу угодно было произвести на свѣтъ и муравьяную чернь. И въ какой же цвѣтъ оно окрасило ихъ? Въ терпкій — въ цвѣтъ рабства. Какъ же намъ было не принять этого дара неба?

— Да какъ-то сошѣсно, право... — проговорила Гривушка. — Они — мелкіе, слабые, работаютъ и на себя, и на насъ; а мы — крупнее, сильнѣе, сидимъ собѣ, сложа руки. На что же намъ дана наша сила?

— Какъ на что? А какъ же мы добыли собѣ этихъ рабовъ? Силой. Не будь я такъ занята въ дѣтской, кланусь солщею, я шла бы впередъ васъ. Вы, рыжія дѣти мои, прежде всего — воины. Не забывайте этого. Воинство подвиговъ, воинская слава — вотъ ваше прямое призваніе. И самъ ты, сыночекъ, не разъ уже выказалъ свою молодецкую удаль. А поелъ подвиговъ не грѣхъ и отдохнуть на лаврахъ.



## II. Потопъ.



Между тѣмъ, приближала грозовая туча и закричала солнце. Блеснула молнія и загремѣлъ громъ. Буйный вихрь, гоня передъ собой столбы пыли, налетѣлъ на муравейникъ. Нѣсколькихъ рыжихъ муравьевъ избросило на воздухъ. Мать-муравьяха ухватилась было за свой коврикъ, но вихрь ее стряхнуло съ розоваго лентеска, и самый лентесокъ унесло невѣсть куда.

— Долой, долой, дѣтки!—заторопила муравьяха, и, поддерживаемая Грызункомъ, начала спускаться подъ гору.

Во-время еще достигли они городскихъ воротъ. Грызунъ остановился подъ воротами.

Боже праведный! это ужъ не гроза, а буря. Вѣтромъ

неистово трясло и гнуло вокруг деревья, срывало не одни листья, но и целыя вѣтви, и крутило ихъ въ воздухѣ, какъ въ бѣшеной пляскѣ.

А бѣдные малютки-жнецы!... Застигнутые врасплохъ, они также искали теперь спасенія. Схвативъ каждый по зерну, они вперетонку бѣжали къ муравейнику, подъ родную кровлю. Но вѣтромъ ихъ то и дѣло валило съ ногъ, вырывало у нихъ изъ рукъ тяжеловѣсныя зерна.

Вдругъ съ ослѣпительнымъ грохотомъ и трескомъ сверху низа ослѣпительная молнія. Велѣды затѣнь, полить дождь, какъ изъ ведра.

Потопись! Въ двѣ минуты, вся низа передъ муравейникомъ обратилась въ бурное море. Подхваченные волнами жнецы храбро боролись съ ними. Но вѣтромъ кидало ихъ между колосьями изъ стороны въ сторону, а сверху хлестало беспощаднымъ ливнемъ. Они захлебывались и, какъ за послѣдній якорь спасенія, цѣплялись за колосья. Но и колосья прибывало къ землѣ, заливало водою.

Новымъ порывомъ вѣтра обломилъ съ ближняго дерева большой сукъ. Покружившись надъ муравейникомъ, онъ упалъ прямо въ бушевавшее надъ низою море. То, что въ другое время было-бы для муравьенъ бѣдою, теперь оказалось для нихъ счастьемъ. Барахтавшиеся среди потопленныхъ колосьевъ чернокожіе жнецы, живо, одинъ за другимъ, вскарабкались на спасительный сукъ. Но немъ уже они, безъ особыхъ усилій, добрались до боковой вѣтви, ближайшей къ муравейнику. Но отсюда до твердой почвы на муравейникѣ было еще съ добрыхъ двадцать муравьиныхъ шаговъ. Какъ быть? Растерянно бѣжали жнецы назадъ и впередъ по вѣткѣ.

Но помощь была уже близка. Грызунъ смѣло вышелъ изъ-подъ воротъ подъ самый ливень и ступать въ воду. Благодаря его высокому росту, вода доходила ему не выше пояса. Крошки-жнецы, замѣтивъ забавнела, столпились



на самомъ кончикѣ иголки. Только добрался онъ до нихъ, какъ уже нѣсколько жнецовъ наперерывъ вскочило къ нему на голову, на шею, на спину. Какъ атлетъ-акробатъ, перенесъ онъ ихъ всѣхъ на сушу. Затѣмъ, отправился за новой партией. Такъ переправилъ онъ постепенно всѣхъ жнецовъ, усидѣвшихъ своевременно спастись на суку.

Тутъ грянулъ страшный громъ, и молнія ударила въ самый муравейникъ. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ прошла она въ землю, сводъ муравейника треснулъ и провалился. Сквозь провалъ открылся теперь прямо свободный доступъ.

Когда подбѣжали туда Грызунъ, чернокожіе муравьи изъ жнецовъ и носильщиковъ обратились уже въ землекоповъ и инженеровъ. Въ числѣ ихъ были и тѣ, которыхъ онъ спасъ сейчасъ изъ воды. Молніей кого изъ нихъ обожгло, кого оконтузило. Но не думая уже о себѣ, великіе хлопотались только о спасеніи муравейника. Одни тащили глину да известь, сосновые иглы да камешки, для укрѣпленія свода, другіе — тоненькія былинки да прутья — эти муравьиныя бревна для предупрежденія дальнѣйшаго обвала. И все-то это были опять-таки одни слабосильные чернорабочіе, пришлый народъ! Муравьи-хозяева, рыжіе сизачи, беззаботно укрывались гдѣ-то въ отдѣльныхъ кварталахъ.

— Нельзя-ли мнѣ вамъ пособить, братцы?—спросилъ Грызунъ, подходя къ группѣ чернокожихъ.

Они копошились около длиннаго прутка-бревна, тщетно сдвигая его приподнять.

Маленькіе труженики съ удивленіемъ разступились: благородный рыжій муравей хочетъ помочь имъ въ ихъ черной работѣ!

Для Грызуна бревно было какъ-бы перышкомъ. Онъ разомъ поднялъ его стоймя.

— Потолокъ подпереть тутъ?—спросилъ онъ.

— Точно такъ, ваше благородіе.

— Ты что тамъ опять дѣлаешь, сыночекъ? — раздался угорительный голосъ.

По ту сторону обвала стояла, подбоченясь, мать-муравьяха. За нею тѣснилась вся рыжая свита. Грызунъ смѣшался.

— Помогаю...— пробормоталъ онъ.

— Не твое дѣло, дружокъ.

— Да, вѣдь, пока, маменька, насъ всѣхъ зашьетъ...

— Не зашьетъ. Дожди ужь итъ.

И точно, гроза натѣшила, набушевала въдоволь. Столь роковой для муравейника громовой ударъ былъ ей послѣднимъ вдохомъ. Теперь духъ у нея зацвло и она разомъ присмирѣла. Сквозь отверстіе провала снѣгать уже вверху клочокъ ленаго неба.

— Пропустите-ка, ребята, — сказала мать-муравьяха, и, переваливаясь съ боку на бокъ, перелѣзла по землянымъ грудамъ черезъ мѣсто обвала. — Помогн-ка мнѣ, милый, выйти на воздухъ. Здѣсь все еще душно что-то...

Грызунъ всталъ ее опять подъ руку и вывелъ за ворота на вольный воздухъ.







III.

Муравей-богатырь и  
Соловей-разбойникъ.

утъ вотъ и приседемъ на заваленгѣ...—говорила, всязаныхавшись, мать-муравыха.—Послѣ грозы-то духъ какой чудный.

Грызунъ молча расположился около.

— Что ты, сыночекъ, будто не весель?—спросила муравыха.

— Мало веселья!—со вздохомъ отвѣчать онъ: — сколько на-

роду-то даромъ погибло! Вошь, по всей нивѣ ихъ расе-  
дыло...

Дождевая вода, затошнила давеча ниву, повемногу всочилась въ рыхлую почву. Кое-гдѣ лишь стояли еще небольшія лужи. Но среди поваленныхъ полосъ хлѣба чернѣлись бездыханныя тѣла потонувшихъ жнецовъ. Далеко не всѣхъ, стало быть, удалось спасти ему, Грызуну!

— Эка бѣда!—замѣтила муравыха: — невольники! Ихъ всегда добыть можно.

— Да, вѣдь, они для насъ-же, маменька, трудились!—воскликнула Грызунъ.

— А тебѣ, небось, и жалко стало? Ты—воинъ, сынъ мой: ты долженъ закалить свое сердце! Завтра-же, можетъ

статься, придется тебѣ разворотъ опять муравейникъ—ихъ братьевъ, чернокожихъ. А можно-ли сражаться, если будешь слушаться своего глупаго сердца?

— Коли придется сражаться, такъ за себя, конечно, постою, — отвѣчалъ Грызунъ. — Да славы-то мало воевать съ этой мелюзгой. Вотъ попадись мнѣ равный или даже болѣе сильный противникъ, какое-нибудь крылатое чудище, что-ли...

Изъ дѣсной чащи донеслась звонкая соловьиная трель.

— Помни нечистаго, и онъ ужь тутъ какъ тутъ, — пропентала муравыха, дрожа всѣмъ своимъ тучнымъ тѣломъ. — Вишь, какъ залвывается! Колокольчикъ, да и только. А на дѣлѣ-то—самый дютяй врагъ всего живущаго, тотъ самый Соловей-разбойникъ, о которомъ столько пѣсень сложено. Только не народился, знать, еще тотъ муравей-богатырь, который осилилъ бы злодѣя.

Грызунъ молча поднялъ съ земли грузную быдинку-дубинку и залергѣлъ ею надъ головой.

Мать-муравыха съ снисходительной усмѣшкой наблюдала за этимъ гимнастическимъ упражненіемъ.

— Ужь не ты ли, Грызуничъ, тотъ самый муравей-богатырь?

— А что вы думаете?—злорно отвѣчалъ онъ и молодецки замахалъ дубинкой.

— Нашей-то братьѣ, муравьямъ, пожалуй, и не устоятъ передъ тобой, — продолжала муравыха; — но этому чудищу поганому, Соловью-то-разбойнику, ударъ твой развѣ за щелчокъ покажется.

Она была права. Грызунъ съ досады швырнулъ дубинку далеко отъ себя. Летя съ вышины, дубинка подпрыгнула раза три-четыре по спату и сблизилась при этомъ съ ногъ партію чернорабочихъ, тащившихъ изъ муравейника подмоченныя хлѣбныя зерна, муравьиными лица и кононы.

— Ловко! сказала муравьица.

Грызунъ, застыдясь, отвернулся.



Весь скать муравейника, обращенный къ солнцу, по-прылся уже, между тѣмъ, зернами, личинами и коконами, внесенными сюда для просушки. Соловей точно ожидалъ только этого. Весело щелкнувъ, онъ спустился вдругъ на муравейникъ и принялся клевать личицы и коконы. Черно-



работѣ муравьи вдумали было защищать своимъ тѣломъ хозяйское добро, но крылатый разбойникъ однимъ ударомъ снова укладывалъ ихъ на мѣстѣ; потомъ съ прежнимъ аппетитомъ продолжалъ начатый обѣдъ.

Мать-муравыха и всѣ рыжая ея снота, просто, огѣнѣли отъ ужаса. Грызунъ оправился первый.

— За мною, братцы!—вскрикнулъ онъ и бросился на злодѣя.

Воодушевленные его пригѣромъ, остальные рыжіе кинулись вслѣдъ за нимъ. Но ногамъ соловья они, какъ матросы по корабельнымъ мачтамъ, нигомъ вскарабкались до туловища прозорливой птицы. Здѣсь они зарывались ей въ пухъ подъ крылья, подъ шею, вивались ей въ кожу, въ мѣсо.

Испуская жалобные крики, раненый разбойникъ взвился на воздухъ и стрѣлой ушелъ прочь, унося на себѣ Грызуна и его товарищей.

— Теперь делай, братцы!—крикнулъ опять Грызунъ.

Стремглавъ прыгнули онъ съ страшной высоты на землю. Товарищи сдѣлали тоже. Благодаря упругости муравьиного тѣла, никто не расшибся. Вскорѣ вся заплата была ошита на муравейникѣ.

— Ай-да молодцы!—похвалила ихъ мать-муравыха.— А тебѣ, Грызунъ, первое спасибо! Ты настоящий богатырь... Ура, нашему муравью-богатырю!

— Ура!—дружно подхватило толпившееся кругомъ рыжее и черное населеніе муравейника.

— Благодарю, господа...—говорилъ Грызунъ, невольно тронутый такимъ общимъ къ нему расположеніемъ.— Я сдѣлалъ только то, что въ слѣдующій разъ сдѣлаетъ, конечно, вслѣдъ за вась.

— Но твой былъ починъ, а починъ дороже денегъ,—сказала муравыха.—Такъ-какъ, однако, мы, дѣтки мои, всѣ тутъ въ сборѣ, то не обсудить ли намъ кстади теперь же

одну неотложную мѣру? Даѣ кары небесныя посѣтили иначе насъ: потопъ и Соловей-разбойникъ. И отъ того, и отъ другого рабочее население наше поубавилось чуть не на половину. Жатва наша отъ ливня также сильно пострадала. Придется тащить зерно изъ-за тридевятъ земель. А для этого опять-таки нужны рабочія руки. Гдѣ взять ихъ?

— Набѣтъ на чернокожихъ!—пронеслось громкогласно, какъ изъ однихъ усть, по всей многотысячной толпѣ. И черные невольники, наравнѣ съ своими краснокожими господами, признавали неизбежность такого набѣга.

— Всѣ, кажется, за набѣтъ?—продолжала муравыха.— Но для успѣха дѣла нуженъ, прежде всего, умный и ловкій начальникъ. Кого же мы на сей разъ выберемъ въ атаманы летучаго отряда?

— Муравья-богатыря! Грызуна!—зарешѣлъ опять весь народъ, и Грызуну оставалось только поклониться на всѣ стороны почтившему его такъ народу.





IV.

Набѣгъ.



тетомля страна черно-  
 кожнхъ муравьевъ отъ  
 муравейника рылаихъ  
 часа на три пути. На-  
 бѣги туда за свѣжими невольни-  
 ками производились довольно часто.  
 Грызунъ, въ качествѣ простаго волон-  
 тера, и прежде не разъ участвовалъ уже въ  
 нихъ, и потому теперь, когда ему было по-  
 ручено начальство надъ летучимъ отрядомъ,  
 онъ зналъ, какъ провести отрядъ самымъ  
 ближнимъ путемъ.

А путь былъ не изъ легкихъ.

Приходилось перелѣзать черезъ горные края аршина  
 въ два вышины, опускаться въ глубокія пропасти-про-  
 монны въ аршинъ глубины. Отъ вчерашняго ливня про-  
 монны эти еще не обсохли, такъ что надо было цѣпляться  
 другъ за друга въ видѣ живаго моста и по этому мосту  
 уже перебираться на тотъ берегъ.

Не смотря, однако, на всѣ эти препятствія, ровно че-  
 резъ три часа, летучій отрядъ форсированнымъ маршемъ  
 достигъ предѣловъ страны чернокожихъ. Страна эта



представляла зеленую полянку, на самой серединѣ которой была темная впадина—главная ворота въ подземную столицу. Какъ племя низкорощенное, чернокожіе селились глубоко подъ землею. Сходясь и переплетаясь искуснымъ лабиринтомъ, всѣ подземные улицы и переулки направлялись къ главному проспекту, который выходилъ уже къ воротамъ, на поверхность земли. Ворота были открыты; но дено и ноцію расхаживалъ передъ ними усиленный караулъ.

На краю полянки Грызунъ остановилъ свой отрядъ. За высокою травой ихъ не видать было чернымъ караульнымъ; но чутье всей вообще муравьиной породы куда тонко, а своеобразный запахъ муравьиного тѣла, въ родѣ запаха свѣжаго уксуса, слышится уже издалека; притомъ вѣтеръ дулъ въ сторону муравейника, такъ что черные караульные разомъ подняли кверху носы.

— Рыжіе идутъ!—гаркнули они въ одинъ голосъ, и грозная вѣсть, какъ по телеграфу, пробѣжала по всѣмъ ходамъ и переходамъ въ отдаленнѣйшіе закоулки подземнаго муравейника.

— Рыжіе идутъ!

Хорошо, слишкомъ хорошо знали чернокожіе, что значить непрощенный визитъ рыжихъ башмбужковъ, и храбро высыпали на встрѣчу врагамъ въ открытое поле.

Тѣмъ временемъ, Грызунъ разставилъ свое небольшое, но лихое войско въ боевой порядокъ. Потомъ прошелся по фронту.

— Слушайте, ребята!—заговорилъ онъ: — боини намъ не нужно. Они муравьи, какъ и мы. Щадите ихъ, сколько возможно, а стануть ужъ слишкомъ напирать, такъ бейте легонько по щекамъ, чтобы повадки не было. Поняли, ребята?

— Поняли, ваше в-скородіе!

Атаманъ подозвалъ къ себѣ знакомаго фланговаго муравья

ловко вскочить къ нему на спину и, молодецки гарцуя, повелъ свое войско въ атаку.

А въ это самое время, густою, черною волной катилась на встрѣчу имъ малорослая рать чернокожихъ. Малорослы были они, правда, но числомъ много превосходили атакующихъ, а озлобленіе на послѣднихъ удвоило еще ихъ силы. Сплошнымъ кольцомъ обхватили они сомкнутый строй рыжихъ и вдругъ всею массой бросились въ рукопашную. Рыжіе великаны, послушные наказу молодого атамана, слегка только отбивались, и все-таки передніе караулы тотчасъ же падали подъ мѣткими щелчками. Но сзади дѣлали неудержимо все новые и новые малютки и хватались за ноги великановъ. Барахтается великанъ и не можетъ хорошенько повернуться, а тѣ, раззадоренные, озлобленные до-нельзя, какъ дѣрнуть всё разомъ—такъ и свалить его съ ногъ! Тутъ ему и пиши пропало: вскарабкаются они на плечи, на затылокъ, и давай его пронизывать, какъ острыми иголками, своей ѣдкой муравьиной кислотой.

Рыжіе дрогнули. Одинъ атаманъ-богатырь не потерялся. Съ высоты своего муравья-коня онъ могъ обозрѣть все поле битвы. Не оставалось сомнѣнья, что еще минута—и войско его будетъ овранжнуто.

— Не плошай, ребята!—звучно крикнулъ онъ на все поле.—Они напрашиваются на гибель—такъ будь по ихнему! Руби съ плеча!

И съ этими словами онъ ринулся въ самый пылъ битвы. То не былъ уже простой муравей, то былъ самъ Илья Муромецъ. Соколомъ летаетъ онъ надъ вражьей силой, и куда махнетъ, тамъ улива, куда перемахнетъ, тамъ перелучекъ.

Участь боя была рѣшена. Вся полянка кругомъ была усеяна тѣлами чернокожихъ. Уцѣлѣвшіе отъ побойща въ разсыпную пошли на утекъ. Рыжіе бросились-было въ потюгу, но атаманъ остановилъ ихъ:



— Назадъ, братцы! Будеть съ нихъ этого урока.

Лихо подбоченясь, подѣхалъ онъ на конѣ своемъ въ городскимъ воротамъ; затѣмъ, подавъ знакъ рукой: беззащитный городъ отдавался солдатамъ на разграбленіе. Весь летучій отрядъ исчезъ въ глубинѣ муравейника. Но потъ въ воротахъ снова показались побѣдители. Каждый изъ нихъ возвращался съ добычей: кто, какъ бурлакъ, тащилъ на сизыи куль-коконъ, у кого на рукахъ барахтался смуглый дѣтенышъ. Сидѣвшіе дома, во время боя, чертокожіе дядьки бѣжали теперь встѣдъ за своими питомцами. Въ отчаяніи, съ мольбою пѣщались они за фалды похитителей. Но удержать послѣднихъ въ побѣдоносномъ шествіи у мелкоты этой не хватило силъ.

Горе побѣжденнымъ! И слава побѣдителю...

Отчего же онъ, самъ-то побѣдитель, молодой атаманъ богатырь, поинкъ вдругъ буйной головой?





У.  
Два атамана.



то замечались, полковник?

Так спросил, под самым ухом Грызуна, насмѣшливымъ голосъ. Въ тоже время, чей-то усъ фамиллярно тронулъ его по плечу.

Грызунъ съ высоты своего муравья-коня искоса оглядѣть вопрошающаго.

То былъ одного съ нимъ роста силачь-муравей. Но силачь этотъ не былъ изъ породы рыжихъ. Цвѣтъ кожи у него былъ бурый и на груди у него красовался ярко-красный щитокъ.

— Съ кѣмъ имѣю честь?...—сдержанно спросилъ въ отвѣтъ Грызунъ.

— Такой же атаманъ, какъ и вы, полковникъ, только племени муравьевъ-скотоводовъ. Зовутъ меня *Сосунъ*, а прозвание мнѣ—*Губа-не-дура*.

— Очень радъ,—вѣжливо промолвилъ Грызунъ и, въ свою очередь, назвалъ себя.

— Муравей-богатырь? переспросилъ Сосунъ. — Чтожь! прозвище, мнѣ кажется, вамъ вполне заслуженное. Вонъ, съ того дерева я наблюдалъ за всѣмъ ходомъ боя. Вы работаете удивительно чисто. А при всемъ томъ, скажу... все-таки...

— Что все-таки?

— Вы не обидитесь, полковникъ? Я говорю съ вами, какъ равный съ равнымъ...

— Говорите.

— За что вы столько погубили муравьиныхъ жизней?

Онъ указать на поле сраженія, усыпанное тѣлами черныхъ, а кое-гдѣ и рыжихъ муравьевъ.

— Да коли безъ этого было нельзя?...

— Будто нельзя? Вамъ требовались невольники, не такъ ли?

— Такъ.

— А безъ нихъ вы развѣ не могли обойтись? Развѣ вамъ самимъ не сладить съ вашимъ хозяйствомъ?

Новый знакомецъ высказывать именно то, на что онъ самъ, Грызунъ, еще намедни намекалъ матери-муравьиныхъ. Но та пристыдила его на первыхъ же словахъ передъ всею компаніей рыжихъ. Мелочныя заботы о кускѣ хлѣба, о дѣтяхъ лежали на обязанности мелкоты—рабовъ. Онъ же былъ благородный воинъ...

— Я, прежде всего, воинъ и исполнять свой долгъ... — заговорить онъ.

— А между тѣмъ, все-же находите нужнымъ оправдываться?— замѣтить, усмѣхаясь, Сосунъ.— *Qui s'excuse—s'accuse, monsieur.* (Извиняешься—такъ значить, виновать, сударь). А давеча, вмѣсто того, чтобы лизовать по случаю своей побѣды, вы были такъ подавлены, убиты, будто сами потеряли пораженіе. И я вамъ объясню причину: въ душѣ вы, точно, потеряли пораженіе. Вы должны были тайнѣ сказать себѣ, что безъ надобности привесли въ жертву сотни себѣ подобныхъ.

— Вообще не себѣ подобныхъ!— перебилъ запальчиво Грызунъ и собирался еще что-то добавить, но внезапно замолкъ.

Мимо ихъ дефилировать уже аріергардъ рыжихъ грабителей. Въ то-же время показался одинъ рыжій силачъ съ непо-сильною ношей: онъ волокъ за собой большущій коконъ.



Трое мелких чернокожих вѣбнулись сзади въ рыхлую оболочку кокона и тѣмъ еще болѣе затрудняли движеніи грабителя.

— Сейчас пустите его! — коротко и повелительно крикнуть каранузамъ Грызунъ.

— Никакъ, сударь, невозможно съ! — плакались тѣ въ отвѣтъ. — Это парскій дѣтенышъ... будущая принцесса и мать чернокожихъ... Насквозь даже слышно, какъ дышетъ голубушка, какъ бьется...

— Въ послѣдній разъ говорю вамъ: пустите! — грозно объявить Грызунъ.

— Ей-ей не смѣемъ... Мы, вѣдь, дядьки ея...

Грызунъ, безъ дальнихъ разговоровъ, соскочилъ на земь. Черезъ мгновеніе, всѣ три малютки-дядьки кубарями разлетѣлись по сторонамъ. Но, увы! и самой принцессѣ ихъ пришлось плохо. Держались они, видно, за оболочку кокона слишкомъ крѣпко; тонкая оболочка порвалась; заключенная внутри крошка-муравьяха, горчась и извиваясь, выползла наружу.

Грызунъ бережно поднялъ ее съ земли и передать съ рукъ на руки тому самому рыжему, что притащилъ ее въ коконъ.

— Нда вотъ, несъ дальше. Только смотри у меня, не помни!

— Виновать, полковникъ, — вмѣшался тутъ Сосунъ, молча наблюдавшій до сихъ поръ за всей сценой. — Что, скажите, станется съ этой бѣдняжкой?

— Тоже, что съ другими, — отвѣчалъ Грызунъ: — мы ее вырастимъ, а потомъ...

— А потомъ завалите работой?

— Ну, разумѣется.

— Да что вамъ въ одномъ-то лишнемъ рабочемъ? А здѣсь, дома у себя, какъ мать-муравьяха, она положила бы сотню тысячъ яицъ и изъ нихъ вышло бы столько же трудолюбивыхъ чернокожихъ...

— Которыхъ мы въ свое время могли бы также увести



въ неволю?—сѣясь, подхватилъ Грызунъ. — Что правда, то правда! Что выгодыше: одинъ ли рабочий теперь или, немного погодя, сто тысячъ ихъ? Конечно, сто тысячъ. Да, разница большая.

Онъ кинулъ ближайшему изъ трехъ чернокожихъ.

— Подойди-ка сюда, любезный. Возьми обратно свою принцессу. Донесешь ли?

— Донесемъ-съ. Много благодарны, сударь...

И, сгибаясь чуть не до земли подъ живую ношей, онъ скрылся за воротами муравейника. Товарищи собирались было послѣдовать за нимъ. Грызунъ остановилъ ихъ:

— Вы куда, чумазы? Назадъ!

Потомъ указалъ на нихъ своимъ двумъ рыжимъ подчиненнымъ: грабителю и тому, что служилъ ему, Грызуну, конемъ:

— Отвести ихъ, куда слѣдуетъ.

Плѣнники бухнули въ ноги побѣдителю:

— Батюшка, не губи!

— Въ самомъ дѣлѣ, что вамъ толку-то въ нихъ?—вступился опять Сосунъ.—Что изъ малыхъ дѣтенышей вы можете воспитать себѣ послушныхъ слугъ—это я понимаю. Но взрослые враги всегда будутъ врагами...

— Да, чего добраго, возмутятъ и послушныхъ,—досказалъ Грызунъ.—Справедливо. Ну, любезные, благодарите Бога и вотъ этого господина. Налѣво кругомъ, маршъ!

Плѣнники не дали повторить себѣ команды и побѣжали безъ оглядки.

— И вы ребята, ступайте-ка домой,—обратился Грызунъ къ своимъ двумъ подчиненнымъ:—скажите, что скоро буду.

Атаманы остались одни.

— Миѣ, призваться, хотѣлось еще побесѣдовать съ вами,—сказалъ Грызунъ своему новому знакомцу.—Ваше бурое племя считается у насъ, между муравьями, наравнѣ

сь нашимъ рыжымъ. Но скажите, неужели вы повсе обходитесь безъ работы?

— Вовсе.

— Правда, у васъ куда меньше дѣла...

— Не думаю. Запасы на зиму мы собираемъ точно также, какъ и вы; дѣтей своихъ также воспитываемъ; да сверхъ того, у насъ есть такия занятія, которыхъ нѣтъ у васъ: это—молочное хозяйство.

— Да будто ужъ оно такъ сложно?...

— А не угодно ли убѣдиться своими глазами? Чужихъ мы къ себѣ вообще не допускаемъ. Но для васъ, полковникъ, сдѣлаемъ исключеніе. За безопасность вашей особы я отвѣчаю своимъ офицерскимъ словомъ. Угодно?

Онъ прямодушно протянулъ Грызуну свою руку. Тотъ крѣпко потрясъ его.

— Съ удовольствіемъ принимаю ваше любезное приглашеніе.



## VI.

## Въ коровьемъ царствѣ.



арство муравьевъ-скотоводовъ лежало по ту сторону муравейника чернокожихъ. Минувавъ лѣсную прогалину, два муравья-атамана пошли опушкой. На пути ихъ стоялъ роскошный, весь унизанный распустившимися розанами, шиповникъ.

— Вотъ одинъ изъ разсадниковъ нашихъ, — сказала Сосунь. — Пойдите минуточку...

И мигомъ онъ влѣзъ на шиповникъ. Грызунь съ любопытствомъ слѣдилъ за нимъ. Атаманъ скотоводовъ сидѣлъ уже на пышномъ розанѣ и отцѣплялъ съ него свѣтло-зеленую тлю или, по-просту сказать, травяную вошь.

— Посторонитесь, полкомниезъ!

Грызунь едва успѣлъ отступитъ въ сторону, какъ тля ушла къ его ногамъ. За нею, съ ловкостью гимнаста, соскочила внизъ и сама Сосунь.

— Надѣюсь, не ушиблась, милая? — заботливо наклонился онъ къ тлѣ.



Та, круглая, пухлая, какъ упала, такъ и осталась лежать на спиць, поворачивая только съ боку на бокъ свою хоботообразную мордочку и болтая по воздуху ногами.

— Глупое созданье, право!— замѣтить Сосунь.— Ничего-то не разумѣть. Низшая порода! Одно слово: корова. Но полюбуйтесь-ка, полковникъ, что за экземпляр! Хоть и изъ простыхъ, зеленыхъ, а какъ, вѣдь, жирна, какъ сочна! Ну, виноградъ, да и только.

— Такъ у васъ, значить, есть онѣ и другихъ цвѣтовъ?— удивился Грызунь.

— Еще бы. Вотъ увидите скоро. Но и у этой, я уиѣренъ, молоко первый сортъ. Прошу отвѣдать.

Онъ усикомъ некусно пощекоталъ тлю. Она тотчасъ же выдѣлила прозрачную каплю.

— А вы сами что же?— спросилъ Грызунь.

— Прошу,— повторилъ тотъ:— вы, вѣдь, гость, а я хозяинъ. Послѣ жаркаго боя у васъ, вѣрно, въ гортѣ пересохло?

Грызунь съ жадностью проглотилъ заманчивую каплю, потомъ облизнулся и обтеръ усы.

— Какъ прохладительно!— сказалъ онъ.— И что за сладость!...

— Дѣло мастера боится,— съ самодовольствомъ отозвался Сосунь.— Выбирать скотину не такъ просто, какъ, можетъ быть, кажется. Не даромъ, знать, я окрещенъ Сосуномъ, не даромъ прозванъ Губой-не-дурой.

— Что же вы ее тутъ и оставите?

— Нѣтъ, жаль; можетъ, еще пригодится.

Онъ сунулъ крошку-тлю, какъ узелокъ, подъ мышку. Инстинктивно чуя, что зла ей не сдѣлаютъ, она довѣрчиво прильнула къ великану-муравью.

Друзья наши шли не торопясь. Съ приближеніемъ къ муравейнику скотоводовъ, ихъ стали обгонять земляки Сосуна, бурые муравьи. Кто тащилъ зернышко, кто волокъ

иглу или соломенку, кто несъ, какъ Сосунъ, подъ мышкой или въ зубахъ, живую тлю. Узнавая своего атамана, они почтительно отдавали ему честь и сѣвшили, затѣмъ, даѣе.

Но вотъ подъ тѣнью вѣковаго дуба показался в грандіозный куполъ муравейника скотоводовъ. Передъ главными воротами толпа молодыхъ скотоводовъ забавлялась военною игрой: приподнявшись на заднія ножки, они боролись между собой и звонко хлопали другъ друга по щекамъ.

— У васъ, стало быть, есть тоже военное сословіе! — сказала Грызунъ. — А вы же сами уѣбрали...

— Нѣтъ, это не настоящіе воины, какъ у насъ, — отвѣчать Сосунъ: — это кадеты-ополченцы, добровольцы. Набѣзовъ мы никогда не предпринимаетъ, но каждый обязанъ защищать свой муравейникъ. Вотъ молодежь и практикуется.

Они вошли въ муравейникъ. Попадавшіеся имъ тутъ бурме муравья удивленно оглядывали рыжато муравья, отутишпатося въ ихъ муравейникъ. Но его сопровождалъ самъ атаманъ ихъ, Сосунъ, и всѣ молча сторонились.

— Хлѣбные амбары, я думаю, васъ не интересуютъ? — заговорилъ Сосунъ. — Это тоже, что и у васъ; да къ тому же они еще и пусты. Дѣтскихъ нашихъ я вамъ также показывать не стану; разница только та, что шнырки у насъ не наемныя, а изъ своихъ же, бурыхъ.

— А этотъ корридоръ куда ведетъ? — спросилъ Грызунъ.

— Это въ покои нашей матушки-муравьяхи. — отвѣчать хозяйникъ, понижая голосъ. — Она у насъ, признаться, терпѣть не можетъ, когда ее застаютъ надъ лицами; а вы притомъ посторонній...

— Ни за что туда не пойду! — сказала Грызунъ. — Это такое дѣло, что можно, пожалуй, слазить. Мнѣ бы только хотѣлось осмотрѣть ваше молочное хозяйство.

— Такъ прошу идти за мной.

Передъ ними раскрылась обширная подземная зала. Но



всему полу были разложены правильными рядами бесчисленные микроскопическія крупинки. Взадъ и впередъ между ними ходили бурые муравьи, то обмахивая съ крупинокъ пыль, то облизывая ихъ языкомъ, то прикладываясь къ нимъ чуткимъ ухомъ.

— Что это у васъ за крупа?—спросилъ Грызунъ.— Это не муравьиная же яица?... И къ чему они тамъ прислушиваются?

Сосунъ таинственно улыбнулся.

— А вотъ сейчасъ узнаемъ. Смотрите.

Одинъ изъ прислушивавшихся муравьевъ разгрызъ вдругъ крупинку, и оттуда неуклюже выкарабкалась прехорошенькая малютка-теля!

— Вонъ оно что!—проговорилъ Грызунъ.— Это теленокъ?

— Теленокъ. Выроститъ, насколько требуется, въ колыбелькѣ—и выпуститъ. А теперь пойдемте-ка посмотреть, какъ пристроятъ его къ мѣсту.

Муравей-скотникъ бережно поднялъ на руки новорожденного и вынесъ изъ дѣтской. Оба атамана пошли за нимъ слѣдомъ.

До сихъ поръ ихъ окружалъ глубокій мракъ, и только благодаря своему зоркому муравьиному зрѣнію, Грызунъ различалъ предметы вокругъ себя. Теперь въ концѣ коридора блеснула свѣтъ. Они вышли на открытое мѣсто.

Сверху, сквозь искусственную разщелину въ сводѣ муравейника, проникалъ скудный дневной свѣтъ. Но свѣта этого было довольно, чтобы поддерживать штательную силу мелкихъ растений, покрывавшихъ почву. Это была подземный лугъ, подземное пастбище.

Муравей-скотникъ поднесъ младенца-теленка къ свободной травкѣ. Тотъ пивкой къ ней присосался. Вокругъ другія растенія были точно также усажены, словно пучочками, сосущими младенцами-телятами.



— Удивительно!...—мог только выговорить Грызунь.

— Не правда ли? Но это, такъ-сказать, цвѣточки, а сейчасъ будутъ ягоды.

Подземные ходы извивались то вправо, то влево, отбоя громадные древесные корни.

— На этихъ корняхъ у насъ пасется скотъ зимой; сюда же столется онъ и на ночь,—объяснялъ Сосунь.—Это нашъ хлѣвъ, нашъ скотный дворъ.

— А гдѣ же онъ теперь, вашъ скотъ?

— Въ полѣ.

Снова блеснулъ издали свѣтъ, но уже цѣлымъ потокомъ лучей. Корридоръ, поднимаясь круто въ гору, вышелъ, наконецъ, на поверхность земли, на вольный воздухъ.

Подъ легкимъ свѣтомъ заходящаго солнца растиалось зеленѣющее поле. Кругомъ былъ обведенъ земляной валь,—очевидно, съ цѣлю, чтобы скотина не разбѣжалась. На листьяхъ же, стебляхъ и корняхъ сочныхъ злаковъ паслась сама скотина, тли-коровы всѣхъ видовъ и цвѣтовъ: круглая, грушеобразная и плоская, свѣтло- и темно-зеленая, голубая, розовая, бѣлая и даже полосатая.

— Грызунь былъ такъ озадаченъ, что не могъ вымолвить ни слова.

— Теперь вы, надѣюсь, убѣдились, что правильное скотоводство—дѣло не совсѣмъ-то простое?—говорилъ Сосунь.—Подойдите ближе. Замѣйте, сколько разнообразий! И одна другой лучше.

— Такъ что же, у нихъ и молоко даже разное?—спросилъ Грызунь.

— А то какъ же? Можете сейчасъ удостовѣриться.

— Благодарю, я слыть...

— Сдѣлайте милость, не обидьте. Прикажете мнѣ половть, или сами, можетъ быть?...

— Любопытно бы самому...

Они стояли около розовой тли. Грызунь кончикомъ уса

легоныко прикоснулся къ ней. Она послушно тотчас же угостила его блѣдно-розовымъ молочкомъ.

— Вкусъ розы!—воскликнулъ онъ.

— Вотъ видите. А ананаса не желаете ли?

Хозяинъ тронулъ усомъ темно-зеленую корову—и у нея выступила капелька зеленоватого отѣнка.

— И по духу ужь слышно,—замѣтилъ Грызунъ.

— Да вы откушайте, пожалуйте.

Пришлось откушать и ананаса.

— А тутъ вотъ наше шампанское: маковая росинка!—продолжалъ Сосунъ, подводя гостя къ полосатой глѣ.

— Ей-ей, не могу...—отговаривался гость.

— Демьянова уха? Ну, одну еще капельку только, послѣднюю.

Что тутъ дѣлать! Чтобы не обидѣть хозяина, надо было приложиться. Но, приложившись, Грызунъ вдругъ откинулся назадъ головой, схватился за грудь и закатилъ глаза.

— Не знаю, что это со мной?...—пробормоталъ онъ: —точно все кругомъ завертѣлось, а на душѣ стало такъ легко, такъ уморительно-весело... Сейчасъ бы, кажется, пустился въ присядку.

— Макъ, значить, въ голову ударилъ,—усмѣхнулся Сосунъ.—Но ничего, это скоро пройдетъ. Не правда ли, божественный напитокъ? А вотъ и дѣтвора наша,—прибавилъ онъ.

На пастбище высыпала теперь изъ муравейника гурьба бурыхъ дядекъ. Каждый несъ на спинѣ по грудному муравейчику. Къ одной и той-же коровѣ подносилось по нѣскольку младенцевъ, которые съ жадностью упивались выдоеннымъ дядьками молочкомъ.

— Кормленье это производится у насъ три раза въ день: утромъ, въ полдень и передъ сномъ,—толковалъ гостю Сосунъ.—А ужь полезно ли имъ—сами можете



судить: вонъ, какіе все пузаны! Что бы вамъ примѣръ съ насъ взять?

— И то ужь подумываю... — отвѣчалъ серьезно Грызунь.

— Да вѣсти бы и рабство тоже отхлѣбнуть.

— Ну, это будетъ труднѣе ..

— Однако, поинтайтесь?

— Можетъ быть, со временемъ... Но я у васъ, право, непозволительно загостился! Вонъ, и солнце совсѣмъ ужь заходитъ.

— Да вы бы перепочевали?

— Нѣтъ, ужь, увольте. И то вамъ, я думаю, надоѣлъ. Нельзя ли мнѣ прямо отсюда, чтобы не ходить опять черезъ весь муравейникъ?

— Отчего же; можно.

Оба агамана стояли уже на палу.

— Никогда не забуду нашего гостепріимства! — говорилъ расстроганно Грызунь. — Милости просимъ и къ намъ. Во мнѣ вы приобрѣли себѣ самаго вѣрнаго друга. Что бы тамъ ни было — я другъ вашъ на вѣки.

Въ послѣдній разъ прижалъ онъ новаго друга къ сердцу и соскочилъ, затѣмъ, съ палы.

До дому, впрочемъ, Грызунь въ этотъ вечеръ уже не добрался. Утомленіе ли отъ дальняго похода и отъ перенесенныхъ днемъ разнообразныхъ впечатлѣній, или же предательская маковая росинка подкосила его богатырскія силы, — только изъ полугути онъ повалился на придорожный мохъ и заснулъ, какъ убитый.







VII.

Муравьиное вѣче.

ыжая мать-муравыиха отдыхала опять на пологомъ скатѣ муравейника. Около нея вѣжизлась на утреннемъ солнышкѣ ея рыжая свита.

— И гдѣ это онъ запрошастился, нашъ бравый атаманъ-богатырь? — говорила муравыиха, заслонясь рукой отъ солнца и смотря вдаль.

— Да вонъ никакъ онъ и идетъ, — замѣтили одинъ изъ свитскихъ.

— Гдѣ? гдѣ?

— А вонъ тамъ, у мухомора...

— И то онъ! Да что это съ нимъ? Идетъ понурясь, усами размахиваетъ, точно самъ съ собой разговариваетъ... Ужъ не спятилъ ли съ ума, прости Господи!.. Нѣтъ, вонъ кланяется по сторонамъ. А народъ-то за нимъ такъ, вишь, и бѣжитъ, такъ и валитъ. Работу бросили, побѣдителя встрѣчаютъ! Онъ говоритъ имъ что-то и идетъ все впередъ. А они, вишь, какъ пильные, бѣгутъ вслѣдъ за нимъ, кричатъ... Что они кричатъ такое?

— На вѣче! на вѣче! — донеслось теперь совсемъ яственно свозъ слухный тулъ волнующейея толпы.

— На вѣче! — повторила муравыиха. — Что-жъ! народъ ждетъ — пойдете, господа.

Ворота были уже запружены напиравшимъ отовсюду чернокожимъ населеніемъ, такъ что мать-муравыиха съ рыжею свитой не безъ труда протолкалась внутрь муравейника. Когда они добрались до центральной подземной залы, служившей для подобныхъ вѣчевыхъ сходовъ, громадная зала была уже биткомъ набита муравьиною чернью. Посреди залы, на камешкѣ возмостился самъ муравей-богатырь, Грызунъ.

— Любезные сограждане, рыжіе и черныя! — началъ онъ, когда шумъ кругомъ понемногу утихъ. — Послѣ вчерашняго боя я не вернулся вѣстѣ съ войскомъ... вы догадываетесь, конечно, почему? Бой увеличился подлымъ успѣхомъ; но смѣлъ ли я одинъ принять все почести благодарнаго народа? Всякій порядочный муравей добросовѣстно исполняетъ долгъ свой. И могу засвидѣтельствовать здѣсь передъ лицомъ дѣлаго муравейника, что весь летучій отрядъ мой, до послѣдняго муравья, везъ себѣ молодецки. За что же одному болѣе почестей, чѣмъ другимъ?...

— Bravo! очень хорошо! — пронеслось одобрительно по многотысячной толпѣ.

— Задержало меня, впрочемъ, и нѣчто другое, — продолжалъ Грызунъ. — Я, извольте видѣть, поострычался съ атаманомъ скотоводовъ. Онъ былъ такъ любезенъ, что пригласилъ меня заглянуть въ ихъ коровье царство, и я не считъ возможнымъ отказаться.

— Слушайте! слушайте! — раздавалось опять съ разныхъ сторонъ.

— Любезные сограждане! буду говорить откровенно. Хотя между муравьями племя скотоводовъ и считается вообще не ниже нашего, земледѣльческаго, но въ душѣ каждый изъ насъ, конечно, считаетъ себя выше ихъ. И точно, о земледѣліи они и понятія не имѣютъ. За то молочное хозяйство у нихъ доведено до такого совершенства, что по-



спорить даже съ нашимъ земледѣлемъ. Да, скажу по совѣсти: меня зависть взяла! „Да что же у нихъ можетъ быть такое?“ спросите вы. А вотъ что. Каждый въ вась, вѣдь, тоже не прочь въ жаркую пору прохладиться молочкомъ: подвернется корова—ну, какъ упустить, не подожми? А тамъ, у нихъ, вообразите, не только содержится постоянный домашній скотъ, а заведены даже особые питомники телятъ! И варициваются у нихъ эти телята всѣхъ цвѣтовъ радуги и самыхъ изящныхъ формъ. „Да что проку въ этомъ?“ скажете вы. Прокъ огромный. Съ формой и цвѣтомъ скотины мѣняется и вкусъ молока, и какого ни отвѣдаете—пальчикомъ оближете! А есть и такое, подь названіемъ *макова росинка*, что отъ одной капли охмѣлѣешь, повеселѣешь, и всякое горе забудешь, и весь свѣтъ обилать готовъ. Но это не все: муравьиная дѣтвора у нихъ ничѣмъ инымъ не кормится, какъ парнымъ молокомъ. И посмотрѣли бы вы, какіе все пузыри! А о дѣтскихъ болѣзняхъ у нихъ, говорить, и слыхомъ не слыхать. Такъ вотъ, что значить образцовое скотоводство!... Любезные сограждане! хорошее перенимать никогда не поздно. Вѣкъ живи, вѣкъ учишь. Не послать ли намъ кого изъ нашей молодежи въ науку къ скотоводамъ?

Рѣчь молодого атамана произвела глубокое дѣйствіе. Вся громадная вѣчевалъ зала разомъ зашумѣла, затудѣла, какъ вскипѣвшій надъ огнемъ котель. Напрасно почтенная мать-муравья возвышала голосъ, чтобы возстановить тишину. У нея, бѣдной, была одышка, и тонкій голосокъ ея совершенно затерялся въ общемъ говорѣ.

Тутъ сивозъ передніе ряды черни протискался впередъ невысокій, но дюжій чернокожій.

— Прону слова, атамань!

Грызунъ приводилъ его за усы и усадилъ къ себѣ на плечи. Оттуда чернокожій ораторъ окинулъ всю аудиторію быстрымъ взглядомъ и заговорилъ:



— Дорогие сограждане! Всё мы здесь — и черные, и рыжие, разумеется, съ самымъ живымъ участіемъ выслушали любопытный рассказъ нашего уважаемаго атамана-богатыря о путешествіи его въ королевѣ царство. Всё мы одинаково сочувственно отнеслись къ его мысли — завести и у насъ правильное молочное хозяйство. Но... едва ли я ошибусь, если скажу, что послѣднее его предложеніе — идти въ науку къ скотоводамъ — не нашло того-же сочувствія...

— Вѣрно! слушайте! — раздались отовсюду поощрительные возгласы.

— Вѣдь, это, другими словами: чтобы мы, земледѣльцы, ходили на заднихъ лапкахъ — передъ кѣмъ? передъ муравьями, незнающими и азбуки полеводства, передъ какими-то скотоводами! А ну, какъ, въ довершеніе позора, они ушлютъ насъ еще съ длиннымъ носомъ? Тогда война неизбежна. Такъ не проще ли начать прямо съ этого — съ войны? Угнать у нихъ весь скотъ — и дѣло въ шляпѣ. Кто за войну — вверхъ усы!

Вся зала кругомъ оцетинилась усамъ.

— За войну, кажется, всё единогласно? И такъ, остается только выбрать главнокомандующаго. Но о выборѣ, я думаю, теперь и рѣчи быть не можетъ. Одинъ муравей у всѣхъ на виду: нашъ славный атаманъ-богатырь Грызунъ.

— Грызуна! — зарезѣла ликующая толпа.

— Любезные сограждане! — заговорилъ тутъ, въ свою очередь, Грызунъ: — я глубоко тронутъ... я не знаю, какъ и выразить свою благодарность... но, разставаясь съ атаманомъ скотоводовъ, я поклялся ему въ вѣчной дружбѣ. Какъ ни цѣню я ваше высокое довѣріе, но долженъ отказаться отъ незаслуженной чести...

Кругомъ пронесся угрожающій рожокъ.

— Ты не имѣешь никакого права отказываться! — за-

пальчиво вскрикнулъ на шеѣ Грызуна чернокожій ораторъ. — Какое дѣло намъ до твоихъ личныхъ отношеній къ тому или другому? Народъ тебя выбралъ — и ты долженъ повиноваться.

— Пропустите, господа, мать-муравыху! — послышались тутъ голоса: — муравыха говорить хочетъ.

Толпа разступилась, нѣсколько услужливыхъ рукъ подхватили грузную матушку-муравыху и поставили ее на камешекъ, рядомъ съ Грызуномъ. Она сострадательно оглядѣла послѣдняго, обняла его усомъ и обратилась затѣмъ къ народу:

— Милыя дѣти мои, рыжія и черныя! Грызуниъ принимаетъ вашъ выборъ и приложитъ весь свой умъ, всю свою хитрость, чтобы съ наименьшею потерей обезпечить намъ полную побѣду. Съ закатомъ солнца онъ двинетъ всю нашу боевую армію къ походу. Теперь же, на прощанье, общій родныхъ и двойной шажокъ на брата.

Воздухъ огласился радостными криками:

— Ай-да матушка-муравыха!

И всѣ трое: муравыха, Грызуниъ и чернокожій ораторъ очутились на рукахъ ликующаго народа.



## Разгромъ коровника.



боло полуночи, армія рыжихъ переступила уже въ строгомъ порядкѣ границу коровьяго царства. Здѣсь главнокомандующій, остановившись передъ фронтомъ, изложилъ воинамъ свой боевой планъ.

— Вы слышали, ребята, — говорилъ онъ, — что наказывала намъ мать-муравыха? Побѣдить съ наименьшею потерей. Штурма, слѣдовательно, быть не можетъ. Мы устроимъ правильную осаду и заставимъ скотоводовъ добровольно уступить намъ половину своего молочнаго скота. Чтобы осада была неотразимая, мы возведемъ вокругъ всей столицы ихъ траншею.

Сказано — сдѣлано. Сама природа, казалось, покровительствовала осаждающимъ: ночь была безлунная, темъ непроглядная. Неслышно подступило рыжее войско къ непріятельскому муравейнику, неслышно принялось за земляную работу.



На разсвѣтъ, глазамъ ничего не чаявшихъ скотоводовъ представилось диво-дивное: весь муравейникъ ихъ былъ обведенъ кругомъ, какъ плотнымъ вольдомъ, высокими валами, а изъ-за вала непрерывною щетиной грозно торчали усы рыжаго войска.

— Къ оружію!—пронесся по всему муравейнику боевой кличъ—и все способное къ военному дѣлу населеніе муравейника бросилось къ главнымъ воротамъ и на городской валъ, около пастбища, чтобы остановить вторженіе праговъ.

Но, къ немалому изумленію скотоводовъ, земледѣльцы не трогались изъ своей траншеи. Одинъ только рыжій усачъ выскзалъ изъ-за вала съ зеленою вѣткой въ приподнятой рукѣ и безобидно направился къ муравейнику.

— Парламентёры!

Атаманъ осажденныхъ, Сосунъ, съ такою же вѣтвью мира, вышелъ къ нему на встрѣчу.

— Вы ли это, полковникъ? — удивился онъ, узнавъ недавняго своего друга.

— Какъ видите, — отвѣчалъ Грызунъ, — хотя, впрочемъ, уже не полковникъ, а генералъ, главнокомандующій.

— Не поздравляю, — съ презрительной усмѣшкой сказалъ Сосунъ. — Вы этимъ, видно, хотите отплатить намъ за наше гостепримство?

— Самъ я не имѣю рѣшительно ничего противъ вашего народа, а лично къ вамъ, *monsieur* Сосунъ, питаю самыя теплыя, дружескія чувства... — началъ Грызунъ.

— Рассказывайте!...

— Увѣряю же насъ...

— Такъ я вамъ и повѣрю! Хороша дружба, нечего сказать! Оставьте, пожалуйста, эту дружбу вашу при себѣ и отвѣчайте просто: зачѣмъ пожаловали?

— Будь по вашему, — сказалъ со вздохомъ Грызунъ. — Станемъ говорить лишь о дѣлѣ. Восхищенный зашикъ

образцовымъ молочнымъ хозяйствомъ, я имѣлъ неосторожность предложить своему народу взять съ васъ примѣръ. Но въ нашемъ народѣ преобладаетъ боевой духъ. Противъ моего желанія было рѣшено силою отнять у васъ скотъ. Меня выбрали главнокомандующимъ. Могъ ли я отказать? Но проливать кровь вашего племени я ни чуть не желаю бы; поэтому предлагаю вамъ полюбовную сдѣлку: уступите намъ безъ боя половину вашего скота—и мы, какъ пришли, такъ и уйдемъ.

— Ни одной штуки!—воскликнулъ Сосунъ.

— Будьте благоразумны, — настаивалъ Грызунъ. — У васъ останется, вѣдь, половина скота. При вашемъ искусствѣ разводить телятъ, вы, въ какой-нибудь годъ времени, удвоите опять свое стадо.

— Ни одной штуки! — съ рѣшительностью повторилъ Сосунъ. — Мы вѣками, неумышленнымъ уходомъ развили эти рѣдкія породы, а вы, не ударивъ палецъ о палецъ, хотите забрать себѣ идругъ, ни болѣе, ни менѣе, какъ половину того, что мы нажили!...

— Да, вѣдь, вы въ нашей власти, — доказывалъ Грызунъ. — Мы—коренное воинское племя; сквозь цѣпь нашу вамъ не прорваться.

— Штурмуйте, если хотите. Мы за себя тоже стоимъ.

— Нѣтъ, штурмовать васъ мы не будемъ, но мы заморимъ васъ голодомъ.

— О, провіанта у насъ довольно!

— Ну, этому-то я не повѣрю. Не сами ли вы, два дня назадъ, говорили мнѣ, что магазины ваши еще пусты?

— Магазины—да. Но у насъ есть образцовое стадо коровъ; оно прокормитъ насъ хоть круглый годъ.

— Такъ вы добровольно не сдаётесь?—спросилъ Грызунъ.

— Разумѣется, нѣтъ.

— Ну, такъ мы заставимъ васъ сдаться!



— Это какъ же?

— А вотъ увидите.

Оба военачальника холодно отдали другъ другу честь и разошлись.

Вернувшись въ свой лагерь, Грызунъ созвалъ въ траншеѣ военный советъ.

— Такъ и такъ, — разсказать онъ: — они не сдаются. Векорѣ, конечно, раскаются, безумцы, но прежде, чѣмъ обратиться къ крайнему средству, къ грубой силѣ, я думаю испытать еще одну военную хитрость. Дѣло опасное, и потому я рискую только однимъ собой. Въ полночь я отлучусь. Если къ разсвѣту я не вернусь, то, значить, хитрость не удалась и меня нѣтъ въ живыхъ. Тогда можете избрать изъ своей среды другаго главнокомандующаго, и онъ уже рѣшитъ дальнѣйшій планъ дѣйствій.

Въ полночь Грызунъ, въ самомъ дѣлѣ, исчезъ. Куда? никто не видѣлъ. Но за полчаса до разсвѣта на неприятельскомъ валу поднялась суматоха. Вслѣдъ затѣмъ, въ траншею къ рыжымъ скатился самъ Грызунъ.

При слабомъ свѣтѣ предразсвѣтныхъ сумерекъ рыжіе воины съ ужасомъ увидѣли, что главнокомандующій ихъ серьезно раненъ: лѣвая изъ заднихъ ногъ его была начисто оторвана, тѣло въ нѣсколькихъ мѣстахъ растравлено ѣдкою муравьиною кислотою.

— Росы!... — прошепталъ онъ.

Роса была тутъ же подана, раны обмыты и обложены цѣлебною травою.

Изъ неприятельскаго лагеря донеслись жалобные вопли.

— Ага! замѣтили, небось! — проговорилъ съ усмѣшкою Грызунъ.

— Да что вы тамъ натворили, генераль? — спрашивали, недоумѣвая, окружающіе.

— Перегрызъ изъ всю траву на пастбищѣ, стебель за



стеблемъ. Теперь у скота ихъ нѣтъ корма и они, волей-неволей, должны будутъ сдаться.

— Да какъ же вы попали туда?

— А съ дерева, вонъ, прыгнуть къ ногъ внизъ. Назадъ только пришлось идти по землѣ; ну, и поплатился немножко. Но, друзья мои, я, признаться, усталъ-таки отъ работы. Дайте соснуть часокъ.

Онъ накрылся одѣяломъ-листочкомъ и тутъ-же забылся богатырскимъ сномъ. Съ восходомъ солнца, на неприятельскомъ валу появился съ зеленою вѣткой Сосунъ. Сонъ подрѣшилъ Грызуна, и бодрый, какъ всегда, онъ пошелъ къ демаркаціонной линіи между двухъ лагерей, гдѣ ожидать уже его Сосунъ.

— Доброго утра.

— Здравствуйте.

— Сдвесь?

— Не безусловно,—отвѣчалъ Сосунъ.—Съ пастбищемъ нашимъ вы подкосили, правда, и насъ. Но зимой мы держимъ скотъ дома, въ коровникѣ, стало быть, съ грѣхомъ пополамъ, прокормили бы его и такъ. Тѣмъ не менѣе, отъ безкормицы могъ бы открыться падежъ. Поэтому мы готовы разстаться съ половиною скота...

— А мы тотчасъ же снимемъ осаду,—прервалъ Грызунъ.

— погодите, дайте досказать. И мы, какъ и вы, благородные муравьи. Отдать вамъ безъ боя половину своего добра, значило бы — уронить себя на вѣки. Бой неизбеженъ. Но мы не заклятые кровопийцы. Вопросъ можетъ быть разрѣшенъ и простымъ единоборствомъ между вами и мною. Побѣдите вы—берите себѣ безъ разговоровъ половину скота; побью я васъ—уходите, съ чѣмъ пришли.

— Бой, значить, на жизнь и на смерть?

— Ну, разумѣется. Согласны?

— Нѣтъ, не согласенъ.

— Такъ вы трусите?

Грызунь, вмѣсто всякаго отвѣта, указалъ только на то мѣсто тѣла, гдѣ у него не доставало шестой ноги.

— Это васъ сегодня такъ изувѣчили? — не безъ нѣкотораго участія спросилъ Сосунь.

— Расплата за ваше пастбище! — отшутился Грызунь: — одво другаго стоитъ. Но пять ногъ, какъ видите, еще цѣлы и на вѣкъ мой хватить ихъ.

— Почему же вы отказываетесь драться со мной?

— Потому что, какъ сами вы говорите, бой долженъ быть на жизнь и на смерть. Дать убить себя — значило бы, предать своихъ; убивать же васъ я не желаю.

— Что за великодушiе?

— Не великодушiе, а дружба. Я поклялся вамъ въ вѣчной дружбѣ и никогда не подниму на васъ руки.

Сосунь хотѣлъ уже, казалось, протянуть вѣрному другу свой усь, но воздержался.

— Какъ знаете, — холодно сказалъ онъ. — А такъ мы ни за что не сдвинемся.

— Мы полождемъ. Намъ некуда спѣшить.

Грызунь готовъ былъ ждать. Но его воинственная армiя не раздѣляла его миролюбиваго взгляда. Осада продолжалась день, другой, третiй, а осажденные и не думали сдаваться. Напротивъ, каждую ночь они дѣлали отчаянныя вылазки. Выбить рыжихъ изъ ихъ траншей имъ, конечно, не удавалось: вслѣдъ разъ они отступали съ урономъ; но эти нападенiя раздражали боевые инстинкты рыжихъ до послѣдней крайности. До слуха главнокомандующаго доходилъ уже явный ропотъ. Сегодня войско еще его слушалось; завтра, быть можетъ, оно, не спросясь его, бросится на приступъ. Оставалась только послѣдняя мѣра.

Съ наступленiемъ сумерекъ, лучшiе земляконы рыжихъ были призваны къ тайной земляной работѣ. Въ теченiи ночи, они должны были прорыть брешь въ муравейникъ. По точному исчисленiю Грызуна, брешь должна была



придтись какъ-разъ къ мѣсту подземнаго коровника. При нападении врасплохъ можно было утнать отсюда добрую половину скота, безъ серьезнаго кровопролитія.

Такъ разсчитывалъ Грызунъ. Но онъ не принялъ въ расчетъ воинственнаго духа своего войска.

Къ утру брешь, дѣйствительно, была пробита. Но въ тотъ-же мигъ землекопы обратились уже въ воиновъ и съ дикимъ боевымъ крикомъ ворвались въ коровникъ. Крикъ этотъ для всей арміи былъ сигналомъ къ общему штурму. Въ нѣсколько минутъ городскія ворота были взяты, городской валъ занятъ. Рыжіе побѣдители вторглись уже въ самый муравейникъ, и бурные хоаяена, слабо только отбиваясь, искали спасенія въ отдаленнѣйшихъ закоулкахъ города.

Такъ главная сила бѣдныхъ скотоводовъ скопилась въ коровникѣ. Тѣсными рыжими, они прибывали туда все новыми массами. Напоръ сталъ, наконецъ, такъ силенъ, что, проникшіе въ коровникъ сквозь брешь, землекопы рыжихъ не могли уже устоять. Они были вытѣснены назадъ и смяты. Роковая брешь обратилась теперь для скотоводовъ въ спасительный выходъ, въ отдушину, въ которую живымъ потокомъ полилось изъ муравейника все коренное его населеніе. Но, оставляя городъ свой на разграбленіе побѣдителямъ, скотоводы не забыли-таки захватить съ собой свой молочный скотъ. У каждаго бѣглеца въ зубахъ или подъ мышкой было по малюткѣ-коровѣ.

— Держи ихъ! лови! отнимай коровъ!—кричалъ, видя себя, Грызунъ, выброшенный, вмѣстѣ съ своими землекопами, изъ бреши.

— Стой, разбойникъ! защищайся!—раздался тутъ за спиной его громовой голосъ.

Сзади вскочилъ на него Сосунъ и крѣпко обхватилъ его вокругъ стана. Грызунъ не думалъ защищаться, и тотъ разомъ разгрызъ его пополамъ. Оторванная отъ брюшка



передняя часть туловища муравья-богатыря съ головой и ногами судорожно трепетала и извивалась по землѣ.

— Отчего же вы не защищались, генераль?—въ отчаяніи говорилъ Сосунъ.

— Оттого, что хотѣлъ быть вѣренъ своему слову...— прошепталъ умирающій. — Мое дѣло, все равно, проиграно... Я не живу на этомъ свѣтѣ.. А вы, пока можно, свайтесь...

И съ послѣднимъ напряженіемъ угасающихъ силъ, онъ вползъ въ земляную скважину. Сосунъ послѣдовать совету непріятеля-друга и, въ самомъ дѣлѣ, успѣлъ спастись. Прибывшіе на выручку своего главнокомандующаго рыжіе воины съ недоумѣніемъ озирались кругомъ: главнокомандующій ихъ исчезъ куда-то безслѣдно.



Прошли года со времени достопамятнаго разгрома королевика. Изгнанные оттуда муравьи-скотоводы возвели себѣ на чужбинѣ новый муравейникъ, завели новый королевикъ, и скотоводство у нихъ процвѣтаетъ чуть ли не лучше прежняго.

У муравьевъ-земледѣльцевъ все также по прежнему: то-же образцовое земледѣліе, тотъ-же воинственный духъ и то-же рабство. Грызуны были правы: дѣло его было безнадежно проиграно. Уведенный его арміею скотъ въ короткое время весь переродъ отъ неуждлага ухода.

Но память о Грызунѣ, славномъ муравьѣ-богатырѣ, еще свѣжа въ его народѣ. О подвигахъ его сложилась цѣлая легенда. Какъ подобаетъ герою, онъ не умеръ обыкновенною смертью. Послѣ славнаго разгрома коровнича, онъ, бессмертный герой, растворился внезапно въ золотыхъ лучахъ солнца. Такъ гласить, по крайней мѣрѣ, муравьяная легенда...



# СКАЗКА О ПЧЕЛѢ МОХНАТКѢ.

—w—

1.

О томъ, какъ Мохнатка на свѣтъ Божій  
вышла.



ь саду — пчельникъ, въ пчельникѣ — улья, въ ульяхъ — соты, въ сотахъ — ячейки, въ ячейкахъ — или медь или крошечными бѣлыми личинки; а въ личинкахъ? — Въ ячейкахъ президная *дыт-ва*, будущія пчелы. Лежать онѣ тамъ, какъ въ колыбелькѣ, тепло и мягко, спать крѣпко, крѣпко, не шелохнутся. Но вотъ очулась одна малютка, зашевелилась; скорлупка личинная вокругъ нея лопнула, распалась.

И что же было тамъ? — Была не настоящая еще пчела, а *личинка*, маленькій бѣлый червячекъ съ кольчатымъ тѣл-



цель и роговой головкой. Только высунулась личинка из колыбельки, — взрослая пчела-няня ужь тутъ какъ тутъ, нажевала ибязной, медовой жижи и капаетъ хоботкомъ въ ротъ личинкѣ. Глотаешь личинка и растетъ, и крѣветъ. Прошла недѣля — и пора ей *куколкой* стать, *окуклиться*. Выпустила она изъ нижней губы паутинку и давай обивать вокругъ себя. Глядь — совсѣмъ завернулась, что въ одѣяльце, и не видать вовсе.



— Ишь, плутовка! въ *коконъ* завернулась, баньки опять захотѣлось? — сказала пчела-няня. — Ну, ладно, спи на здоровье; да чтобы ничто не мѣшало, пожалуй, еще сверху крышкой нагроемъ.

Выла воску, да и замазала ячейку. И спитъ куколка подъ восковою крышечкой; спать рядомъ съ другими ячейками другія куколки, которыхъ ихъ няня такъ-же крышками накрыла.

Проходить опять недѣля, проходитъ другая. Вдругъ — стукъ-стукъ! Кто тамъ стучится, кто скребетъ? — А первая куколка послѣ долгаго сна первая же проснулась и вонъ хочетъ. Только она теперь уже не куколка, а настоящей пчелой стала, съ глазами и хоботкомъ, съ ножками и крыльями. Прокусила кусальцами крышку надъ собою, просунула вверхъ переднія ножки, уперлась задними въ дно ячейки — и выползла вонъ.

— А, здравствуй, милая! какъ спала? — сказала ей пчела-няня. — Да какая же ты мохнатая! Ну, значить, такъ тебѣ и быть *Мохнаткой*.

А маленькая пчелка была немногимъ развѣ мохнатѣе другихъ; мы, люди, пожалуй, ее отъ другихъ бы и не отличили; но пчелы другъ друга сейчасъ въ лицо узнають.

Такъ за молодого пчелкой имя *Мохнатка* на всегда и осталось.

Первымъ дѣломъ пчела-няня ее по-своему, по-пчелиному, обмыла и причесала, т.-е. попросту обливала и обдернула кругомъ; потомъ повезла къ медовому горшку и накормила золотистымъ медомъ. Когда-же Мохнатка накушалась вѣласть, и все глѣде ея, и ножки, и крылья оттого окрѣли, — пчела-няня вывела ее къ выходу улья, на лето. Солнце такъ ярко брызнуло въ глаза Мохнаткѣ, что она съ непривычки зажмурилась. Но потомъ, какъ притягивалась, даже пискнула отъ радости. Первый разъ въ жизни вѣдь видѣла она теперь и славную зеленъ кругомъ, и вверху чистое голубое небо. И было ей такъ тепло на солнышкѣ, и въ воздухѣ отъ деревъ и травъ пахло такимъ сладкимъ духомъ...

— Ишь, разиѣжилась! — сказала пчела-няня. — Что, небось, хорошо на свѣтѣ-то Божьемъ, а?

— Чудно!... Ай, да кто-же это?

Мохнатка страшно испугалась. Мимо шла какая-то дувогая громада. Пчела-няня весело разсмѣялась.

— Кого испугалась! — сказала она. — Да вѣдь это нашъ лучший другъ: хозяинъ нашъ, старикъ-пчелакъ. Онъ и улей-то намъ построилъ, онъ и на зиму насъ, пчель, отъ холода въ погребъ укроетъ. Правда, въ осени немножко обидитъ: выкурить изъ улья дымомъ, да добрую половину сотъ себѣ вырѣзетъ. Но надо же и ему чѣмъ-нибудь поживиться: онъ трудится для насъ, мы для него. Его-то что бояться! Но есть у насъ, пчель, много настоящихъ праговъ... Поживешь — узнаешь; теперь же пока надо тебѣ еще свой домъ родной узнать. Пойдемъ, покажу.

И повезла она Мохнатку по улью.





## II.

О томъ, что увидѣла Мохнатка въ ульѣ.

Чего-чего не наглядѣлась Мохнатка въ ульѣ! Улейъ вѣдь все равно, что городъ: крутомъ деревянныя стѣнки улья—городская стѣна; внутри — точно улица за улицей, домикъ у домика — ячейка у ячейки, всё шестигранныя и всё изъ чистаго воску. Только внутри ячеекъ не одно и тоже: въ серединѣ улья, гдѣ потелѣе, — дѣтская съ колыбельками и дѣтвой; по сторонамъ же до самой крыши — магазины да кладовыя съ собраннымъ медомъ. А ужъ народу-то, народу пчелинаго вездѣ сколько толчется — и не проберешься! Въ дѣтской надъ колыбельками ходятъ взадъ да впередъ пчелы-матки, кормятъ-хоятъ молодую дѣтву. Въ нижнемъ, еще недостроенномъ кварталѣ работаютъ пчелы-плотники. Наѣдятся до-сыта меду и цвѣтня, влѣзуть подъ потолокъ улья и, схватясь за ножки, висятъ цѣлыми гирляндами головой внизъ. Провиситъ пчела сутки — пропотѣетъ, да не потомъ, а чистымъ, прозрачнымъ воскомъ — и бѣжитъ къ недостроенному соту, отцѣпится съ себя ланкой восковой листочекъ, сунетъ въ ротъ, пережуетъ въ комочекъ и прилѣпитъ куда нужно. Прибѣжить за нею другая пчела-плотникъ, прибѣжить третья, и десятая, и сотая, дѣлаютъ тоже, — и растетъ ячейка за ячейкой, и всё на одинъ ладъ, одна какъ другая. Вотъ такъ мастерицы! И безъ архитектора выстроить себѣ домъ на славу! — Межъ тѣмъ другія пчелы, *сборщицы*, побывали уже въ полѣ на цвѣтахъ, за провваею и наполняютъ пустыя ячейки сладкимъ медомъ; а плотники тутъ-же ихъ запечатываютъ воскомъ, чтобы дорогіе запасы не снизли. Куда не оглянись — работа такъ и кипитъ. Мохнаткѣ даже стыдно стало.



— Всё-то трудятся; я одна безъ дѣла... — сказала она.

— Посидишь, — угѣшила ее пчела-няня. — Впрочемъ, есть у насъ и бѣлоручки, *трутнями* называются. Иди-ка за мной. Только чуръ, тише; народъ-то они важный, сибивый, шутить не любятъ.

Онѣ повернули въ новый кварталъ съ пустыми еще ячейками для будущей дѣтвы. Не прошли онѣ, однако, и пяти шаговъ, какъ попалась имъ на встрѣчу кучка трутней, длиннокрылыхъ, толстонозыхъ, и одинъ пресердито, густымъ басомъ, напустился на нихъ: — Вы куда! что вамъ здѣсь нужно?

Не только Мохнатка, даже пчела-няня какъ-будто слегка обрѣзла.

— Да мы только такъ... — сказала она. — Нельзя-ли намъ, сударь, хоть глазкомъ однимъ на матушку-царицу взглянуть?

— Нельзя! — рѣшительно и строго прожужжалъ трутень.

— Сдѣлайте, ваше сіятельство, такую милость...

— Сказано: нельзя! Царица-матка теперь дѣломъ занята: яйца кладетъ. Шутка сказать: тысячи двѣ яицъ въ день! Чего стоите? Ну, пошли вонъ!

Няня вздохнула и дернула Мохнатку за крыло.

— Нечего дѣлать, — сказала она, — пойдемъ!

На счастье ихъ царица-матка кончила только-что съ своимъ труднымъ дѣломъ: наклала двѣ тысячи яицъ, да еще десятковъ въ придачу. Изъ бокового переулка раздався чудно-звонкій голосъ; трутни засуетились и загудѣли хоромъ: „Ура!“ Въ ту-же минуту выплыла изъ переулка сама царица-матка. У Мохнатки даже дыханье сперло. Царица была вдвое больше ростомъ противъ рабочихъ пчелъ; но въ то-же время она была стройна необычайно и царственно-величала.

Она милостиво кивнула илиѣ и Мохнаткѣ и скрылась во внутреннихъ покояхъ.

— Ужь подлинно царица! — сказала въ восхищеньи няня. — На нее хоть съ утра до вечера работай — не устанешъ.



— Ахъ, да! — сказала Мохнатка, которая только теперь пришла въ себя. — Но что я буду работать?

— Работа найдется, — сказала пчела-няня. — Въ полѣ летать тебѣ, дити мое, еще рано. Но вотъ дѣтокъ кормить или соты строить тебѣ подь силу. Выбирай, что лучше хочешъ?

— Дѣточекъ кормить! Вѣдь, это все равно, что въ кулаки играть?

И пошли онѣ вмѣстѣ въ дѣтскую, и стала Мохнатка скоро няней — не хуже своей собственной няни.





## III.

О томъ, какъ Мохнатка въ сборщицы  
попала.\*

Прошло уже нѣсколько дней, а Мохнатка такъ прилежно ходила въ дѣтской за молодою дѣтвой, что ни разу даже на летокъ прогуляться не вышла.

— Ты этакъ совсѣмъ изморишься, — сказала ей ее прежняя няня. — Пойди, погуляй, да и крылышки свои испробуй.

— Да я-же не умѣю еще летать? — сказала Мохнатка.

— Попытка не пытка; научиться же разъ надо.

— А если упаду?

— Такъ встанешь; да и не упадешь.

Мохнатка вышла на летокъ и замахала крыльями. Сама не зная какъ, она вдругъ поднялась на воздухъ. „Ай, упаду!“ Да нѣтъ, ничего, крылышки держать; только страшно какъ-то. Въ это время ее окликнула старая сборщица, пролетавшая мимо.

— Ишь ты, медвѣженокъ лохматый! — сказала старая пчела. — Чтò ты тутъ дѣлешь?

— Гуляю, — отвѣчала Мохнатка.

— Гуляешь? скажите, пожалуйста! Когда другія сестры изъ силъ выбиваются, она гулять изволигъ, такая крѣпкая, здоровая, да еще съ такимъ славнымъ густымъ мѣхомъ, къ которому всякая цвѣточная пылинка сама собой пристанетъ! Ай, ай! Да тебѣ на роду написано сборщицей быть. Такъ и быть, возьми въ науку. Лети за мной, живо, живо!

Хоть старая пчела какъ-будто и бранилась, но она



похвалила густой мѣхъ Мохнатки, и даже взялась учить ее: значить, та все-же понравилась-таки ей. А ужь какъ сама-то обрадовалась Мохнатка — и сказать нельзя. Въ старшій классъ—въ сборщицы пошла!



Старая пчела полетѣла впередъ такъ скоро, что Мохнатка чуть вслѣдъ поспѣвала. Но вотъ онѣ прилетѣли на сѣнокосный лугъ, на которомъ цвѣли всевозможные цвѣточки: лиловые и алые, желтые и бѣлые.

— Стой! прилетѣли! — прожужжала старая пчела, сѣла

на душистый цвѣтокъ и вползла въ вѣнчикъ цвѣтка. Мохнатка—за нею.—Вотъ тутъ на днѣ медъ, видишь-ли? — сказала старая пчела.—Лижи язычкомъ; только чурь—не плотай, а въ зобъ собирай. Вотъ такъ, смотри.

И, слизнувъ капельку меда, она передними лапками ее въ зобикъ себѣ толкнула. Мохнатка сдѣлала то-же.

— Молодцомъ!—похвалила ее старая пчела.—Но надо намъ и простаго хлѣба—цвѣтня съ собой захватить. Чтобы лучше приставать, вымажемся.

И, взявъ остатокъ меда, она вымазала имъ заднія лапки сперва себѣ, а потомъ и Мохнаткѣ.

— Ты хоть и мохната,—сказала она,—а къ меду все лучше пристанешь. Ну, теперь полѣзай за мной, да дѣлай опять то-же, что я.

Она вылѣзла изъ вѣнчика къ желтымъ пыльникамъ цвѣтка и стала продираться между ними. При этомъ она такъ ловко стряхивала съ пыльниковъ передними лапками цвѣтеи на заднія лапки, вымазанныя медомъ, что всякая пылика приставала къ нимъ. Мохнатка дѣлала то-же. Вдругъ какъ взглянетъ на старую пчелу, какъ оглядитъ себя—такъ и покатилась со смѣху: обѣ онѣ были точно въ желтыхъ бархатныхъ штанишкахъ!

— Развѣ не красиво? — сказала старая пчела. — Да долетишь ли ты до дому въ такихъ толстыхъ панталонахъ?

— Дозлечу!—сказала Мохнатка—и полетѣла. Тяжело-таки было ей съ непривычки, тяжеленько; да ничего, долетѣла до роднаго улья.

Только спустилась на летокъ, какъ накинудись на нее отдыхавшія тутъ-же няни и плотники и давай сдирать и пожирать ее нарядные бархатные штанишки.

— Караулъ! грабать!—запицала Мохнатка.—Всѣ мои штанишки съѣдятъ!

— Ничего, пускай ихъ: проголодались, — сказала



старал пчела. — Теперь-ли набьются, послѣ-ли — все равно. Ну, будетъ съ васъ, обжоры, отвяжитесь! Пойдемъ теперь, дитя мое, медъ сбыть.

И, пройдя въ ближнюю кладовую, онѣ выпустили весь собранный ими медъ въ стоявшіе тамъ еще пустые восковые горшки.

Такъ-то вотъ Мохнатка сборщицею стала. Трудна была ея работа, правда; но зато какъ славно было и отдыхать послѣ дѣла! Подъ вечеръ, пошабавшиъ, она съ другими работницами гуляла на лѣткѣ, какъ на бульварѣ; ходить онѣ, и покачиваются, и потрихиваются, и жужжать безъ умолку, и не могутъ нажужжаться обо всемъ, что видѣли день-денской на бѣломъ свѣтѣ.



#### IV.

### О томъ, какъ роился улей.

Каждый день клала матушка-царица по тысячѣ, по двѣ ницъ, и изъ всѣхъ-то, одна за одной, выносили молодые пчелы. Тѣсно стало вдругъ весть имъ въ одномъ ульѣ: надо было раздѣлиться на двѣ семьи, на два роя, надо было *отроиться*. И вотъ въ одномъ углу улья раздалось робкое кваканье: „ква-ква-ква!“ Въ отиѣтъ съ другого конца пронеслось сердитое тюканье: „тю-тю-тю!“ Всѣ пчелы бросили работу, заметались, замѣшались; весь улей затрубилъ, загудѣлъ. Но сквозъ этотъ шумъ и гамъ явственно слышалось по-прежнему съ одного конца кваканье, съ другого тюканье. Что-жь это такое было? — А вотъ что. Квакала изъ своей колыбельки молодая, вновь народившая матка: и хотѣлось-то ей выдти оттуда, и не смѣла она носу показать; тюкала же старая матка: очень ужъ ей досадно было, что молоденькая царевна ея мѣсто занять



хочеть: вмѣстѣ двѣ матки въ одномъ ульѣ вѣдь никакъ не уживутся; которой-нибудь надо уйти.

— Пустите меня къ ней, пустите! — токала вѣсь себя старая matka. — Вотъ я ее проучу!

Но трутни и рабочія пчелы загородили ей дорогу. — Ради Бога; ваше величество, не троньте, пожалуйте ее! Кому-нибудь да надо же уступить; а кто умнѣй — уступаетъ.

— И то правда, — сказала старая царица. — Кто за меня — за мной!

И она стрѣлой вылетѣла изъ улья. Но крылья у пчелиныхъ матокъ не столько для летанія, сколько для красоты — коротенькія. Пролетѣла царица нѣсколько шаговъ — и устала; присѣла отдохнуть на ближнемъ деревѣ. А пчелы, что постарше, всѣ винулись за нею, облѣпили вѣтку верругъ царицы.



Скоро ужъ и мѣста не стало: пчела сѣдлась на пчелу, и скучилась онѣ такъ въ пѣлую черную бороду, отъ которой вѣтку къ землѣ пригнуло; вотъ-вотъ обломится... Но ей не дали обломиться. Кто же не дастъ? — А пчеликъ, сѣдой добрый старичокъ, котораго Мохнатка въ первый разъ такъ испугалась. Сѣдѣлъ онъ неподалеку подъ своимъ шалашомъ; когда же пчелы зарюмисъ, онъ

проворно накинулъ на голову проволочную сѣтку, на руки надѣлъ рукавицы, на пазуху сувулъ деревянную ложку—*чернакъ* и взялъ въ охапку одинъ изъ пустыхъ ульевъ, что стояли у него тутъ-же наготовѣ. Поставивъ улей подѣ самымъ роемъ, онъ еще ниже пригнулъ вѣтку—и чернакомъ сталъ огребать пчелъ, какъ деготь или патоку какую. Неохотно шли пчелы съ чернака въ новый улей: матки-царицы еще не было тамъ. Но пчелякъ привычнымъ глазомъ скоро высмотрѣлъ ее среди мелкихъ рабочихъ пчелъ.

— А, вотъ ты гдѣ, сударыня!—сказалъ онъ, бережно стрѣбъ ее чернакомъ и подставилъ въ летку.

Царица, задыхаясь въ густомъ клубѣ пчелъ, рада-радѣхонька шмыгнула въ улей. Увидѣвъ то, и другія пчелы живо туда же полѣзали; черпнулъ еще пчелякъ разъ и два—и весь рой былъ въ ульѣ. Тогда пчелякъ перенесъ улей на болѣе удобное мѣсто, гдѣ было просторнѣе и больше солнца.

— Богъ помочи!—сказалъ онъ и перекрестился.

А Мохнатка? — Мохнатка, вылетѣвъ въ общемъ роѣ за царицей, пошла въ тотъ-же улей вмѣстѣ съ другими. Прошлась она теперь взадъ да впередъ по новому дому. Ай, какъ пусто, какъ неуютно! Ни улицъ, ни кладовыхъ, ни одного даже горшечка съ медомъ. Ну, что же дѣлать! Надо работать, работать и работать, чтобы въ новомъ домѣ стало такъ-же мило, какъ въ старомъ. Точно чудомъ въ сказкѣ волшебной, и новый пустой улей наполнился скоро сотами, а соты — душистымъ, золотистымъ медомъ. А въ чемъ было все чудо?—Въ томъ, что всѣ работали одинаково прилежно, одинаково дружно. Все чудо было въ пчелиномъ законѣ: «всѣ за одного, одинъ за всѣхъ».





## V.

## О томъ, какъ Мохнаткѣ конецъ пришелъ.

Хорошо и согласно живутъ пчелы, въ вѣкъ не поссорятся, не подерутся: тишь да гладь, да Божья благодать. Бѣда только, что много у нихъ враговъ: которую воробей или ласточка на лету проглотить; которая къ пауку въ паутину попадетъ — а тамъ поминай какъ звали! Которую разбойница-оса по дорогѣ заволетъ, да и скушаетъ тутъ-же.



Правда, и у пчелы есть жало; да опасно имъ сражаться: не выдержишь жала — и помирай! Пчела безъ жала и дня не проживетъ. Зато, конечно, если ужъ на родной улей воры-грабители нападуть, такъ тутъ некогда думать о себѣ: хоть на мѣстѣ помри — лишь бы улей спасти: „всѣ за одного, одинъ за всѣхъ“. А этихъ воровъ-грабителей куда какъ много, и не перечестъ: то вороватая пчела изъ чужаго улья, то хитрецъ-муравей тихомолкомъ проберется; ну, ихъ-то и безъ жала кусальцами такъ искусаешь, что ой-ой! никогда не буду! — Но хуже другихъ два звѣря-врага: одинъ, звѣрекъ — *мышка*, другой, звѣрище — *Мишка*. Мышка забирается больше зимою, въ погребъ, куда



ставить пчелы на зиму улья; Мишка же нападеть во всякую пору, хоть рѣдко, да мѣтко. Затѣмъ онъ вѣдь и Мишка-медведь, что очень ужъ лакомъ медъ *есть*.



Однажды, Мохватка, возвращался со взяткомъ домой, еще издали услышала что-то небывалое: весь пчельникъ гудѣлъ и жужжалъ, будто забунтовался, а сверху пчелиный гудъ раздавалось страшное зѣбриное рычанье. Подлетѣла

ближе—и на лету остановилась. Изъ всѣхъ ульевъ кругомъ пчелы новысыпали сотнями, тысячами, точно передъ роємъ. Отъ крику-рева ихъ въ воздухѣ стоялъ столбъ. Одно только и можно было разобрать: „Мишка-медвѣдь! Мишка-медвѣдь!“—А самъ Мишка, громадный, косматый, ворча и рыча, шатаясь межъ ульевъ на заднихъ лапахъ, передними на силу отбиваясь отъ пчелъ. Вдругъ, точно опомнясь, онъ круто повернулъ къ ближнему улью,—а улей-то былъ какъ разъ родной улей Мохнатки, — и повалилъ его на земь. Крышка съ улья скатилась, и послѣднія пчелы, оставшіяся еще тамъ, тучей взмылись вверху. Медвѣдь же, закрывшись отъ пчелъ одной лапой, другою полѣзъ прямо въ улей, въ медовую кладовую, да ханнулъ самій сочный, золотистый сотъ. Мохнатка отъ обиды свѣта не завидѣла, не могла уже стерпеть.

— Всѣ за одного, одинъ за всѣхъ! — вскрикнула она и бросилась на страшнато звѣря, да ужалила его въ самый глазъ. Медвѣдь такъ и взвылъ отъ боли и побѣжалъ вонъ безъ оглядки. Подоспѣвшій въ это время пчеликъ поднялъ опять съ земли улей и поставилъ его на мѣсто.

Но бѣдная Мохнатка! Она вонзила въ глазъ медвѣдю жало такъ глубоко, что оно тамъ и засѣло. Бѣдняжка вдругъ совсѣмъ ослабѣла, свалилась на земь, забилась въ траву, да незамѣтно на вѣкъ заснула. Но, умирая, не жалѣла ли она о томъ, что для спасенія улья себя погубила?—Нѣтъ, не жалѣла: она еще въ послѣдній разъ, чуть слышно прошептала: „всѣ за одного, одинъ за всѣхъ...“





## ЧТО КОМНАТА ГОВОРИТЪ.

### I.



ще ночь; кругомъ въ дѣтской почти ничего не видать. Но Ваня не спится. То на одинъ бокъ повернется, то на другой; то кренделемъ свернется, то опять ножки отъ себя прозь отодкнетъ. Уфъ, какъ жарко! Вѣрно, вѣня вчера слишкомъ много дровъ въ печку положила... Онъ сорвалъ съ груди одѣяло, и руки на подушку за голову закинулъ.

А все не спится! Въ головѣ точно мельница стучить, думается безъ конца о томъ, о другомъ. Что-жь это съ нимъ?—А вотъ что. Ваня—мальчикъ острый; все-то ему нужно знать, всѣхъ выспрашиваетъ: и отца, и мать, и вѣню, и старшую сестрицу свою: „Почему это такъ, а не этакъ? Изъ чего это сдѣлано, да откуда берется?“ И накопилось у него теперь въ головѣ всякой величины столько, что мѣста ужъ нѣтъ, вонъ выираетъ, спать не можетъ.

Вдругъ Ваня весь такъ и всполохнулся. Что это такое! Точно кругомъ какой-то шорохъ и стукъ, какіе-то странные деревянные голоса... Сердце въ груди у него сильно забилось. Дохнуть не смѣя, сталъ онъ изъ-за края подушки подсматривать, подслушивать.





II.

отъ такъ диво! Вѣдь это стулья, просто-таки стулья разговорились межъ собой! Ножками топчуть, спинками шевелить, да такъ и тараторять...

— Позвольте, госнода! всѣмъ за разъ нельзя, — перекричать тутъ другихъ одинъ стулъ. — Всѣ мы одинъ какъ

другой: спорить, кажется, не о чемъ. Дайте мнѣ, госнода, за всѣхъ сказать то, что у каждаго на душѣ?

— Говори, говори! Пусть говоритъ! — зашумѣли всѣ стулья разомъ.

— Мы первую нашу молодость вспоминали, — началъ стулъ. — Ахъ, да! Славное было то время, когда мы еще березками въ лѣсу стояли. Солнце насъ грѣло, дождикъ поилъ, птички въ верхушкахъ нашихъ гнѣзды жили и пѣсни пѣли. Приходили къ намъ погулять деревенскія дѣвушки и ребятишки за брусничкой, за грибами: ходятъ да вдругъ останавливаются и всюю грудью вздохнуть: „Какой отъ березы-то этихъ духъ чудесный!“ Помните, госнода, а?

— Еще-бы не помнить! Какъ не помнить! — отвѣчали опять всѣ стулья.

— Да вотъ-же, какъ выросли побольше, надоѣло намъ на одномъ мѣстѣ стоять, однимъ пѣтками шевелить; захо-

тѣлюсь куда-нибудь подальше, свѣтъ поглядѣть. Точно дома не лучше, чѣмъ гдѣ на свѣтѣ... И дождались! Пришли крестьяне съ топорами, всѣхъ насъ подѣ корень подрубили — то-то больно было! Мелкіе сучья на дрова изрубил, а толстые стволы въ городъ къ столяру отвезли. Сталъ насъ столяръ пилой пилить, топоромъ тесать, стругомъ стругать; сталъ точить да сверлить на токарномъ станкѣ, куски прилаживать да клеить склеивать, пока не смастерилъ настоящихъ стульевъ. Вдѣлалъ потомъ еще каждому въ середку плетенку изъ камыша, навелъ насъ краской и лакомъ—наконецъ-то совсѣмъ успѣли! Чистенькіе, гладенькіе, ножка въ ножку, спинка въ спинку, хваты, тѣ солдаты. Будто такими и на свѣтѣ уродились; а гдѣ чего-чего не натерѣлись! Были тоже въ школѣ, да въ какой! Зато-же мы и въ чести у людей: устануть — сейчасъ къ намъ, присядуть—развалятся. Ура!

— Ура!—подхватили всѣ стулья.

— Нельзя-ли потише, господа?—сказалъ тутъ стоявшій между стульями столъ. — Въ чемъ честь-то? Что вамъ, какъ лошади, на спину ездуть? Если кому хвалиться, такъ ужъ мнѣ! Ко мнѣ они садятся всегда лицомъ, ставятъ на меня все, что жалъ на полъ положить. А отчего? — Оттого, что я не изъ простой березы, какъ вы, а изъ цѣльнаго орѣха; оттого, что лицо мое гладко и свѣтло, какъ зеркало: столяръ меня не просто лакировалъ, какъ васъ, а пемзой и политурой оттиралъ, полировалъ. И людей-то жизнь рѣдко когда такъ отполируетъ. Мы тутъ двое только родные братья: я да вонъ шкафъ платяной: тоже изъ цѣльнаго орѣха, да весь полированъ.

— Ну да!—усмѣхнулся тотъ-же стулъ. — А зачѣмъ-же онъ спиной къ стѣнѣ прижался, шкафъ твой? Будто мы не знаемъ, что спинка у него не только не полирована, но даже не орѣховая, а сосновая, изъ самой простой сосны?



Высокий, пузатый старик-шкаф до сих пор молчал. Теперь и он не стерпеть насмѣлки заблуды-стола.

— Не тебѣ-бы, молокоососу, говорить, не мнѣ-бы, старику, слушать,—проворчал он.— Развѣ сосна не такое же дерево, какъ орѣхъ или береза? Только попроще маленько. Кто-же спину мою видить? Ну, вотъ она, по домашнему, и одѣта проще. Да и важно не то, какъ кто одѣтъ, а что онъ самъ есть, какъ держитъ себя. Я-же самый вѣрный другъ дома: что въ меня положить, то и сохранно: ни пыли не дамъ тронуть, ни моли съѣсть, ни вору украсть.



### III.

а полъ звякнуло что-то, и зазвучать тонкій и звонкій голосокъ. Это кто-же? — Ваня тихонько приподнял голову, чтобы лучше разглядѣть. Эге! Это ключикъ, которымъ запирается шкафъ, выскочилъ теперь изъ замка.

— Какъ вы, деревянный народъ, разважничались! — говорилъ ключъ.— И ты, дружище шкафъ, туда-же! Хотя мы съ тобой и давно дружны, но дружба дружбой, а служба службой. Безъ меня, безъ ключа, согласишься, и ты бы мало значить: и пыль, и моль, и воръ-бы забрался. Я моль да удалъ — не изъ дерева вырѣзанъ, а изъ желѣза выкованъ. Дерево-то и хрупко, и ломко, и горитъ, и гниетъ. А желѣзо и тягуче, и глибоко, и прочно. Насъ, братьевъ-металловъ, много — не перечеть. Золото да серебро изъ



всѣхъ насъ знатнѣе; но желѣзо всего нужнѣе, вездѣ пригодится.

— И мы-же вѣдь желѣзные, и мы тоже!—крикнули сверху вбитые въ стѣну гвозди.

— И вы, братцы,—сказалъ ключь.—Некажисты вы, прада: одинъ стержень да головка. А сколько вѣдь на шею вамъ навѣсишь! Но почтеннѣе всѣхъ насъ все-таки матушка-кровать: она отъ трудовъ и заботъ успокоить. Эй, матушка! не расскажете-ли про наше желѣзное житие-бытие?

Ваня съ испугу чуть не свалился съ кровати: кровать подъ нимъ вдругъ заходила и внятно скрипѣла.

— Охъ, дѣтки мои!—скрипѣла кровать.—Родъ нашъ желѣзный не отъ міра сего. Родина наша не здѣсь, надъ землею, а глубоко въ землѣ, въ горахъ. Лежали мы тамъ долго—сотни, тысячи лѣтъ, лежали безобразной каменной грудой, рудою; и была вокругъ насъ вѣчная ночь, вѣчная тишь. Рѣдко-рѣдко когда пробьется къ намъ сверху дождевая вода, прожурчить что-то—не разберешь даже что—да и вонь поскорѣй. Но люди добрались, докопались и до насъ! Растолкли руду, а потомъ засапали въ большую доменную печь въ перемежку съ углемъ: руды да углю, опять руды и опять углю. А снизу-то огня подложили, да давай мѣхами поддувать. Не въ огонь мы попали—въ подыма! Расплавилась руда, какъ сахаръ на свѣчкѣ, стекла внизъ въ лну. А тамъ, съ боку, дыра. Раскрыли дыру, выпустили желѣзную грязную руду, шлакъ; а на днѣ-то что осталось? Остался чистый, тяжелый металл—желѣзо! Съ виду и человѣкъ иной грязень и неприглядень; а внутри у него все-же есть чистый металл — доброе сердце. Ну, разъ мы желѣзомъ стали, изъ насъ можно было выковать что угодно. Выковали и кровать, и ключь, и гвозди; выковали сотню разныхъ полезныхъ вещей. И если люди

теперь хотѣть похвалить. logo изъ своихъ за его крѣпкое здоровье, за его твердый нравъ, то говорятъ: „О, это желѣзная натура! Это желѣзный человекъ!“



## IV.

теперь-то кто изъ угла отпѣчаетъ кроваткѣ? И пахтить, и сонить... Печка, да, старуха-печка!

— А меня-то, сударыня, что-же забыли? — говорила она. — Хотя и не родная вамъ тетка, а все, чай, двоюродная. Снаружи-то совсѣмъ желѣзная. Внутри только изъ кирпичей сложена. Но и кирпичи-то, правду сказать, развѣ не земляной-же породы, какъ и вы? Изъ песку да глины смѣшаны да спечены, какъ пирогъ изъ тѣста. Да и какъ зарумянились-то! Совсѣмъ до-красна. Теперь ихъ ничѣмъ не проймешь. Глогаю-же я вотъ каждый день сколько огня: всю кирпичную внутренность, кажись, должно-бы прожечь; а ничего-таки! и звать не знаю. Только согрѣшься изрядно, да дымомъ въ трубу отдушешься. А люди-то меня какъ любятъ: чуть съ холода — все ко мнѣ да ко мнѣ, погрѣться около меня! Безъ тепла моего имъ и жизнь-бы не въ жизнь.

— Тепло тепломъ, — сказала стоявшая у печки на табуретѣ, умывальная чашка: — но для здоровья имъ нужно и тѣло свое въ чистотѣ держать. А эту деликатную службу мы вотъ съ братцемъ-кувшинномъ справляемъ. Сами вѣдь деликатной породы: хоть тоже изъ глины, да изъ тончайшей — фаянсовой.



— А знаешь-ли еще, сестрица, какъ мы съ тобою на свѣтъ родились?—спросила кувшинь.

— Еще-бы не знать!—отвѣчала чашка.—Какъ теперь помню: было то въ мастерской на фаянсовомъ заводѣ. Лежала я еще комкомъ глины. Вдругъ мастеръ хватъ меня, шлепнулъ на круглый столикъ, завертѣлъ ногою, а руками давай мять да таскать. Верчусь-верчусь, совсѣмъ закружилась; чую только, какъ середка у меня вдавилась, края изогнулись. А онъ ужъ кончилъ, поставилъ меня на скамейку. Оглядѣла я себя—сама себя не узнала: вмѣсто безобразной глиняной глыбы, я стала красивой умвальной чашкой! Смотрю: мастеръ опять завертѣлъ свой столикъ, мнетъ и давитъ комокъ глины. „Что-то теперь выйдетъ“, думаю, „что-то выйдетъ?“ И что-же вышло?

— И вышло!—подхватила кувшинь.

— А то что-же? Какъ увидѣлъ тебя—признаться, такъ обрадовалась, такъ обрадовалась... точно сердце мнѣ сказало, что ты мнѣ братъ родной. Какъ только мастеръ, обернувшись, печально толкнулъ скамейку—я прыгъ къ тебѣ на встрѣчу.

— И не допрыгнула!—засмѣялся кувшинь.—Онъ тебѣ на лету поймалъ. А то-бы еще больно расшиблась.

— Смѣйся, смѣйся!—сказала чашка.—Самъ-то я въ тоже съ радости чуть не выскользнула у мастера изъ рукъ, да онъ тебя за ручку удержалъ. „Куда! куда! людей посмотреть, и себя показать? Да на васъ, милые мои, и глазури-то нѣтъ; а безъ глазури кто-же васъ къ себѣ пустить?“—Сунуль обожъ въ каленую печь и соль посыпалъ. Отъ жары мы насквозь прокалились, а соль насъ кругомъ глазурью залила. Тогда онъ вынулъ насъ изъ печи: „Ну, теперь гуляйте вмѣстѣ по бѣлу свѣту хоть до скончанія вѣка. Только чуръ, не ссорьтесь, не отбейте другъ дружку глазури. Глазурь—первое дѣло.“

— А мы вотъ со стаканомъ насквозь изъ глазури, на-



сквозь изъ стекла, — подаль теперь голосъ со стола графинь съ водою. — Вы моеете людей снаружи, а мы внутри; затѣмъ-то мы такъ и прозрачны: пусть всякій тутъ-же видитъ, что шеть.

— Такъ, стало быть, вы просто изъ соли? — сказалъ кувшинъ.

Графинь звонко расхохотался: — Экъ, батенька, куда хватить! И ваша-то глазури развѣ просто изъ соли? Для глазури, милый мой, двѣ вещи вмѣстѣ въ огнѣ сплавить надо: какой-нибудь землицы да какой-нибудь соли. Ваша землица — глина; ваша соль — обыкновенная, поваренная. Вмѣстѣ и оглазурились. Наша землица — кремнистый песокъ; наша соль — промытая зола, поташъ. Въ огнѣ они также живо въ прозрачную жижу спланились — изъ жидкое стекло. Видаль ты, я чай, какъ хозяйскій сынокъ нашъ Ваня соломинкой мыльные пузыри пускаетъ?

— Кто въ жизни мыльныхъ пузырярей не видаль! — сказалъ кувшинъ.

— Ну, вотъ. Точно также и нашъ мастеръ на стеклянномъ заводѣ возьметъ длинную желѣзную трубку, обмакнетъ въ стеклянную жижу и ну — дуть съ другаго конца. Дуетъ — дуетъ, а стеклянная капля на кончикѣ раздувается все больше, настоящимъ пузыремъ. Пренеприятное чувство, когда тебя такъ раздуваютъ! скажу прямо. А онъ, дуй, еще вернись тебѣ вертуть головы, и тянешься, какъ быть надо графиню. Тогда поставитъ тебя на горячую каменную плитку (горячую — чтобы тебѣ не простудиться и не лопнуть) и чикнетъ ножомъ по горлышку, чтобы ты отъ трубки отсталъ. Уфъ! точно петлю съ шеи сняли. Потомъ желѣзнымъ прутикомъ еще каплю стеклянной жижи возьметъ и губы тебѣ наведетъ; наконецъ, для красы ужъ, обведетъ тебѣ вокругъ плечъ и шеи стеклянное-же ожерелье...

— А я-то... — зазвенѣлъ тутъ рядомъ съ графиномъ стаканъ.

— Что ты?— строго перебилъ его графинъ.— Ты, братецъ, только полъ-графина или даже полъ-бутылки разрѣзали бутылку пополамъ—и все тутъ. Такъ вотъ-съ какъ милостивые государи! Мы, народъ стеклянный, хоть и слабы, хрупки: стукнешь насъ неосторожно или (чего Боже упаси!) уронешь—въ куски, въ дребезги разобьемся; зато же и чувствительны, отзывчивы: только пальцемъ щелкни—голосъ подадимъ, зазвенимъ!



#### V.



права, слѣва, сверху, снизу—отовсюду вдругъ зашелестило, точно въ лѣсу тысячи листьевъ разомъ зашевелились, и на Ваню какъ-бы вѣтромъ нахнуло. Вотъ тебѣ на! Это вѣдь обон на стѣнахъ проснулись, заколыхались, заговорили.

— Всякій изъ васъ пожилъ, господа, правда,—шелестили обон.—Но все-же, сколько-бы васъ тутъ ни было,—будь вы изъ дерева или изъ желѣза, изъ глины или изъ стекла,—все вы живете вашу первую жизнь, и второй жизни вамъ иѣтъ и не видать.

— А вы-то, что-же, вторую жизнь живете? — прозвѣнѣлъ графинъ.

— А то какъ-же? — отвѣчали обон.— Наша первая жизнь была тряпичная, наша вторая—бумажная. Сколько лѣтъ насъ люди платьями, бѣльемъ носили, поза мы на



нихъ въ лохмотья, въ отрешья не изорвались! Тутъ-бы, кажется, намъ и конецъ? Агъ ибтъ! Тутъ выручили насъ наши новые отцы крестные—трипичники: „Бути-локъ, бинокъ! костей тря-покъ!“ Стребали, знай, трипье и изъ домовъ, и изъ сорныхъ ямъ; а понабравши цѣлый возъ—маршъ на бумажную фабрику.

— Славная компанія!—сказалъ брезгливо графинь.— Да на одинъ возъ вашей грязной браты двухъ возовъ мыла не достало-бы!

— Да-съ, вашимъ комнатнымъ мыльцемъ съ салнымъ треньемъ не много подѣлаешь, —сказали обон.— Насъ, сударь мой, въ трехъ кипяткахъ да въ трехъ щелобахъ проварили, насъ трепалкой въ мелкую кашу истрепали, изодрали, — хоть „караулъ!“ кричи. Зато же ужъ и насквозь пробрало. А рядомъ, въ другомъ чайѣ, тутъ-же свѣжей водою обатили, — такъ всю грязь какъ рукой сняло! Стала каша чистая, аниветная—хоть сейчасъ кушай! Только чистогѣ нашей люди и тутъ не повѣрили: чтобы отъ прежней дряни въ насъ и духу не осталось, хорошенько еще насъ продушили...

— О-де-волономъ, вѣрно? —сказалъ графинь.

— Какъ бы не такъ! Хлориною водою, сударь мой. Пахнетъ она, правда, вовсе не духами—расчихаешься, раскашляешься; зато очистить, убѣднить, какъ сибѣ.

— А дальше что-же было?

— Дальше—пустяки, прогулка одна. Поумывшись, убѣдившись, вытекли мы кашницею изъ крава на проволочную сѣтку. А сѣтка, на колесахъ, идетъ себѣ впередъ да впередъ, да трясется еще при этомъ съ боку на бокъ. Вода-то изъ кашницы и сбѣгаетъ сквозь сѣтку, а тамъ остается уже одна густая бумажная масса. На встрѣчу тутъ два валика. Проходить масса межъ валиковъ и выходитъ изподъ нихъ уже не массою, а настоящею, плотною бумагой. Только сыровата еще она. И идетъ она все дальше, идетъ



по мягкому войлоку. Опять на встрѣчу ей два валика, не холодныхъ уже, а нагрѣтыхъ. Продвигается она опять межъ нихъ — и выдѣзаетъ оттуда уже совсѣмъ сухою. Скоро сказка сказывается, да скорѣе дѣло дѣдается: только-что жидкою кашней были — глядь, и бумагою стали.

— Да вѣдь въ, обои, не простая же бумага, — сказала графиня; — а всё въ узорахъ? Грунтъ — сѣрый, по немъ все цвѣточки да цвѣточки, листики да листики.

— А это уже насъ на обойной фабрикѣ разрисовали, — отпѣчали обои. — Сперва навели кистью сѣрую краску для грунта. Потомъ взяли деревянную форму съ шнѣванными цвѣточками, обмакнули въ малиновую краску, надавили на бумагу — вышли цвѣточки. Взяли другую форму съ вырѣзанными листиками, обмакнули въ зеленую краску, опять надавили — вышли листики. Узоръ хоть и простенькій, а миленькій! Не правда-ли? Никому тутъ на глаза не дѣземъ, а въ комнатѣ отъ насъ все-же веселѣе и уютнѣе. Пользу приносимъ, а сами ни-гугу.

— Поль-часа слышимъ, какъ вы ни гугу! — раздался тутъ съ книжной полки насмѣшливый голосъ, и Ваня сейчасъ догадался, что это говорить его любимая книжка, въ которой такія хорошенькія исторіи — и смѣшныя до слезъ, и грустныя до слезъ. — Мы, книжки, тутъ всё тоже изъ бумаги, тоже съ узорами, но съ какими!

— Хороши узоры! — сказали обои: — черные только крючки какіе-то, буквы, что-ли...

— А изъ буквъ-то этихъ что составляется? Слова. А изъ словъ? Цѣлые рассказы. Послушать — уши раздѣсишь. И мы тоже живемъ другую жизнь. Но первая жизнь наша, тряпичная, была только для тѣла: одѣвали, грѣли, а, теперешняя бумажная — для души: и умъ расшевелить и сердце развеселить.

— Да гдѣ-же и кто васъ такъ распечатать?

— Гдѣ? — Въ печати, въ типографіи. А кто? —

Наборщики. Набрали оловянных выпуклых букв — литеръ въ слова, смазали сверху чернилами, и отпечатали на бумагу.

— А кто-же рассказы-то выдумать? Они же, наборщики?

— Нѣтъ, это не ихъ ума дѣло; на то есть свои люди — писатели. Писатель все видитъ, все слышитъ! да потомъ перомъ и опишетъ. И васъ всѣхъ, господа, сколько васъ тутъ ни есть, опишетъ; а наборщики наберутъ васъ въ слова и отпечатаютъ въ книжку. Смотрите-же, глупостей не говорить.

— Вотъ еще! и глупостей даже не говорить! — закричали голоса со всѣхъ сторонъ. — Точно мы ничего уже не значимъ! Точно гора и бѣды всякихъ не натерпѣлись! За что-же это, за что?...

И кругомъ поднялся такой гвалтъ, такой гамъ, что хоть уши заткни.



## VI.

Между тѣмъ стало разсвѣтать, и въ комнату изъ за шторы блеснула первый лучъ солнца. Въ клеткѣ надъ окошкомъ висѣла Ванина канарейка. Она вдругъ встрепенулась и запѣла — запѣла такъ весело и звонко, что шумъ въ комнатѣ разомъ затихъ.

Что-же пѣла она?—А вотъ что:

— Не шумите! не тужите! Что было—то слышло: что слышло—забыто, слезами вонъ смыто. Взшло солнце, пригрѣло и душу, и тѣло,—наслаждайтесь! упивайтесь! сами



смѣло за дѣло. Хоть бы вѣкъ понемногу такъ прожить— и слава Богу!...

За занавѣской спала Ваня няня. И она отъ нянина канарейки проснулась, выглянула къ Ванѣ.

— Э, батюшка! пѣвунья наша и тебя никакъ разбудила.

— Ахъ, няня, няня!—дскричала мальчикъ.—Да ты разве не слышишь, что она поетъ?

— Что поетъ? Известно, Богъ горло дать, ну, и деретъ. Да у тебя, голубчикъ, что глазенки такъ разгорѣлись? Не сонъ ли какой хорошій видѣть?

— И какой еще, няня! А можетъ быть, и не сонъ... Вся комната тутъ говорила...

— То-есть какъ такъ комната говорила? Что то въ толкъ не возьму...

— А вотъ я тебѣ расскажу. Послушай.

И сталъ онъ рассказывать. Слушала няня, да только головой качала...

И вы, друзья, кажется, головой качаете? Не верите, чтобы комната могла говорить?

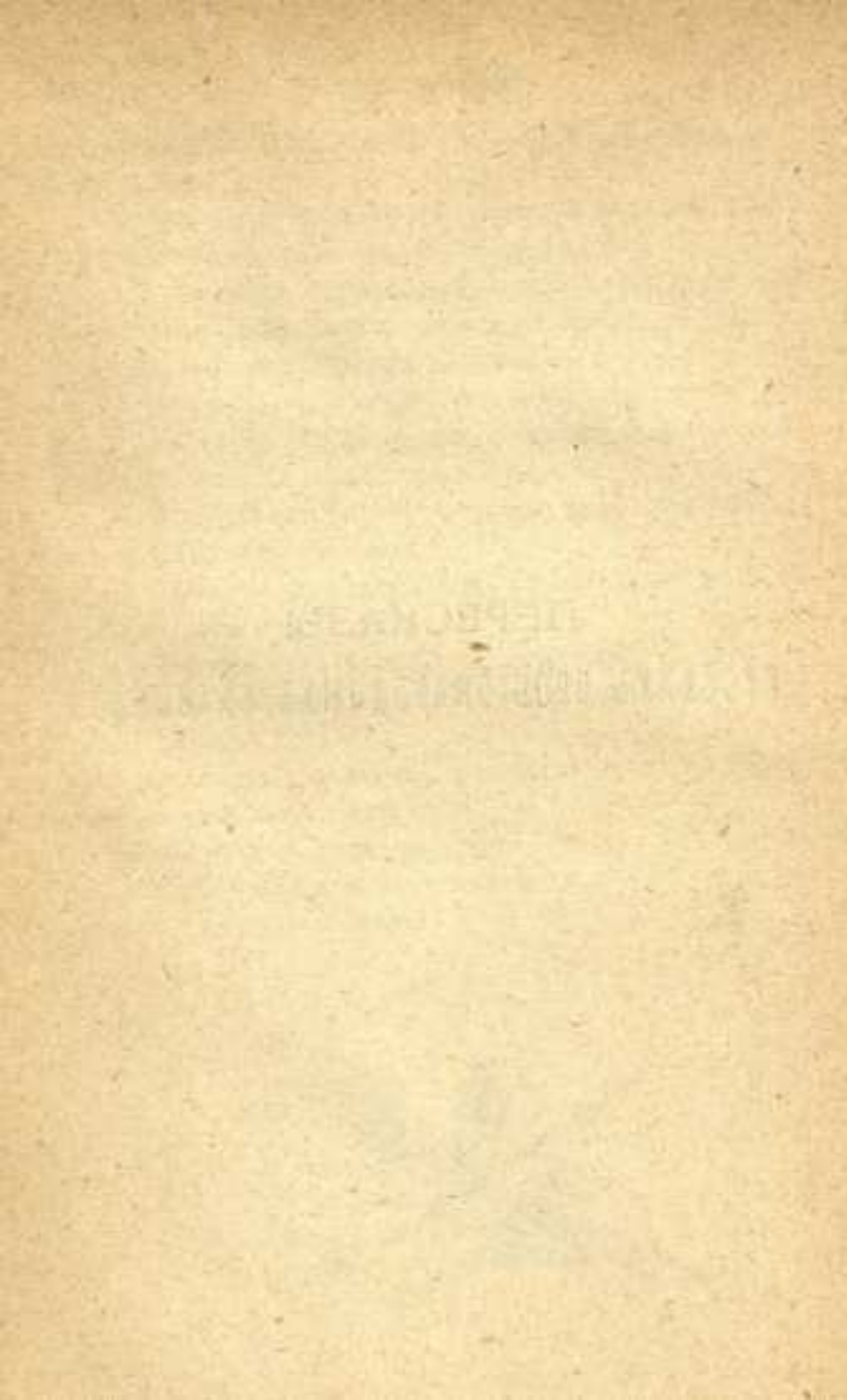
Раскройте глаза ваши, раскройте уши, глядите крутомъ и слушайте хорошенько: не только комната—весь мѣръ вокругъ васъ внятно заговорить.





ПЕРЕСКАЗЫ  
РУССКИХЪ ПРОСТОНАРОДНЫХЪ СКАЗОКЪ.





# ГОРЕ.



й, ты, Горе, Горе-горемычное!

Окружило мужика ты, добра едлодиз:

Какъ ни бьется, бѣдный, какъ ни трудится,  
Никакое дѣло не спорится, въ прокъ нейдетъ.  
За столомъ сидитъ онъ, головой поникъ,  
Думаетъ самъ думу невеселую:

„Безъ семьи бы валять да въ рѣку бросился,  
А теперь поди-ко-сь, надъвай суму  
Да по людямъ христарачитай.“

Хоть и есть, пожалуй, старшій братъ, богачъ,  
Да съ богатствомъ, словно, дѣшій обогрелъ его,



Духъ лукавый жадности и гордости:  
 Не подасть тебѣ и корки хлѣба черстватаго.“

Лишь подумаль такъ-то, а ужъ старшій братъ  
 Дверью стукъ и въ шанкѣ на порогѣ сталь,  
 Головой едва кивнулъ хозяевамъ,  
 Говорить имъ самъ съ усмѣшкою недоброю:

„Каково, друзья, живете-можете?“

Завтра буду именинникъ я,  
 Такъ ужъ бьемъ челомъ вамъ: не обидьте насъ,  
 Хлѣбомъ-солью нашимъ не побрезгуйте.“

— „Благодарствуй,“ молвилъ младшій братъ въ  
 отвѣтъ:

„Намъ съ женой и нарядиться не во что.“

— „Да на что ридиться?“ говоритъ богачъ:

„Приходите такъ, въ чемъ Богъ послалъ.  
 Всей скотины-то у васъ—пѣтухъ да курица,  
 Всей посуды мѣдной—крестъ да пуговица,  
 Нечѣмъ бы, кажись, предъ нами чваниться?“

— „Погодишь до завтра,“—говоритъ бѣднякъ:

„Утро, дескать, мудренѣе вечера.“—

А поутру мужу говорить жена:

„Я ни шагу къ брату, да и ты неиди:  
 Богачу, вѣдь, только бы потѣшиться  
 Надъ бездоольной нашею бѣдностью.“

— „Хватить духу—пусть потѣшится,“

Мужъ въ отвѣтъ, „а мнѣ нельзя нейти.  
 За грѣховность, видно, Богъ высеаль меня,  
 Не помилуетъ ли за смиреніе.“—

Взвалъ, обулся въ лапти старые,  
 Натянулъ армяшко худенькій,  
 Нахлобучилъ шапку рваную,  
 Потащился къ имениннику на званый ширъ.  
 А сидѣли тамъ за скатертью браными  
 Все ужъ гости именитые,

Въ сапогахъ козловыхъ, въ шубахъ заячьихъ;  
Угощаетъ ихъ хозяинъ самъ съ хозяйкою  
Пряникомъ печатынымъ, зеленымъ виномъ.

Какъ вошелъ бѣднякъ, поздравилъ съ ангеломъ,  
У дверей скромненько въ уголочекъ сѣлъ.

Ничего-то бѣдному хозяева  
Не предложить, смотреть въ сторону,  
Будто вовсе тамъ и нѣтъ его.

Вотъ наѣлись гости до-сыта,  
Напились до полу-пьяна,  
Гутора изъ-за стола встають,  
Отдаютъ поклонъ хозяину съ хозяйшккой.  
Всталъ и бѣдный въ уголочкѣ съ лавочки,  
Поклонился имъ до пояса.

Со двора поѣхали, шумять—поютъ;  
И бѣднякъ домой пошелъ, съ голоду  
Затянулъ самъ пѣсню захватскую:  
Съ именинъ, моль, тоже возвращаюся.

Какъ зашѣлъ—послышалось два голоса:  
Свой, густой, да чей-то тоненькій.  
Что за диво? словно, подсобляетъ кто!  
Замолчалъ—и тотъ молчитъ; зашѣлъ опять—  
И опять поютъ два голоса.

„Ой, ты, Горе мое горемычное!  
Ужъ не ты ли это подсобляешь мнѣ?“

— „Я, хозяинъ: больно полюбился мнѣ,  
Въ пѣкъ съ тобою не расстануся.“

— „И на томъ спасибо! будемъ вмѣстѣ жить.“—  
Ворочился нашъ мужикъ домой,

На палатихъ съ боку на бокъ вернется;  
Отъ тоски ли—ночи напролетъ не спитъ,  
А ужъ Горе шепчетъ на ухо:

„Что, хозяинъ, закручинился?  
Ты тоску-злудѣйку утопи въ винѣ.“



— „Да гдѣ денегъ взять, то?“ говоритъ мужикъ.

— „Эхъ, ты, глупость деревенская!

А армякъ-то у тебя на что-жь?

До весны не долго; проживешь и такъ.“ —

И понесъ армякъ свой добрый молодецъ,

Прогулялъ до самаго до вечера.

Какъ проснулся утромъ, слышитъ: Горе охаеъ;

Знать, съ похмѣлья тоже голова болитъ.

„Эй, хозяинъ! надо бы опохмѣляться намъ!“

— „Армяка ужъ нѣту“, говоритъ мужикъ.

— „А телѣга у тебя на что-жь?

На колесахъ, чай, не станешь ѣздить по снѣгу?“ —

Что тутъ дѣлать? И телѣгу потащилъ мужикъ,

Прогулялъ до самой полночи.

А поутру Горе пуше охаеъ,

Подбиваетъ снова добра молодецъ:

„Эй, хозяинъ! погляди-ка: у тебя соха

Даромъ на дворѣ валется.“

Поволокъ и соху добрый молодецъ,

Прогулялъ до утра самаго.

Какъ пришла весна, спустить все до-чиста.

А отъ Гора все отбоя нѣтъ:

„Эй, хозяинъ! что бы прогулять еще?“

— „Нѣтъ, дружище, право, нечего.“

— „А вонъ, въ полѣ кѣмъ-то лошадь, вонъ,

оставлена:

Уведемъ ее и сбудемъ съ рукъ!“ —

Ничего на то онъ не отвѣтствовалъ,

У сосѣда заступъ выпросилъ.

И пошелъ себѣ, куда глаза глядятъ.

„Ты куда, хозяинъ?“ Горе вслѣдъ кричить.

Онъ идетъ впередъ, ни слова; а въ темный дѣсь,

вошелъ,

Отвалилъ большушій камень заступомъ.



И давай себѣ могилу рыть.

Сзади Горе изъ-за плечъ глядитъ:

„Ты чего тамъ, милый, роешься?

Не провѣдалъ ли уже про кладъ какой?“

Усмѣхнулся горько добрый молодець:

„А то какъ же? Вонъ, червонцы такъ и свѣтятся!“

— „Гдѣ? не вижу что-то...“

— „Да вонъ тамъ, въ углу.“

— „Не видать...“

— „Ослѣбло, что-ль, на старости?“

Поглядай—увидишь“.—

Дѣлать нечего,

Опустилось Горе въ яму; а мужикъ-то нашъ

Сверху камнемъ тѣмъ и завали его.

„Ну, дружище, не прогибайся!

Впрядь, дастъ Богъ, уже не свидимся.“

Поздно Горе спохватилось,

Изъ-подъ камня къ молодцу замолилось:

„Ишь, шутникъ какой! Ну, полно, выпусти!“

— „Полежи маленько,“ отычалъ мужикъ:

„Ты же, вѣдь, со мной шутило шуточки,

Ну, а долгъ, извѣстно, платежемъ красенъ.“

— „Безъ меня, голубчикъ, ты соскучишься.“

— „Потерплю, авось, утѣшуся.“—

И, заваливъ опять на плечи заступъ свой,

Повернулъ домой онъ и на радостяхъ

Залился веселой пѣсней.

Разбудила пѣсня темный лѣсъ кругомъ,

Понеслася дальше по лугамъ-полямъ;

Да на этотъ разъ чужаго голоса

Рядомъ съ нею ужъ не слышалось.

И скатился съ плечъ у молодца

Будто грузъ какой, гора тяжелая.

Какъ тутъ мимо поля братнина

Проходить онъ, видить: поле напашется;  
 И соха, и лошадь братиныны;  
 Да идетъ-то за сохой не брать его,  
 А какой-то человекъ невѣдомый.  
 Только примется, какнись, за полосу —  
 Глядь, назадъ другую бороздить опять.  
 Изъ-подъ рала комья такъ и валятся,  
 Такъ и лѣзутъ сами изъ сырой земли;  
 Валуны и нии корявые,  
 Словно щепки, такъ и сыплются.



„Ай-да пахарь! исполать тебѣ!“  
 Похвалилъ мужикъ работника удалаго;  
 „Какъ назвать, не знаю, величать тебя?“  
 — „А зовутъ меня Судьбою-Счастьемъ  
 Твоего роднаго брата старшаго.  
 Онъ баклуши бьетъ; а я тѣмъ временемъ  
 На него безъ усталы работаю.“  
 — „А мое куда же Счастье дѣлося?“  
 — „А твое, вонъ, подъ кустомъ лежитъ,  
 Подъ кустомъ лежитъ, да безъ просыну спать.“  
 — „Погоди-жь ты!“ говорить мужикъ:

„У меня, небось, еще наплянешься.“ —

Взялъ онъ, тутъ-же плетку знатную  
Срѣзалъ съ дерева ракигнова,

Да какъ выгнеть зѣвница по боку!

Пробудилось Счастье, разбранилось:

„Что дерешься-то, за что, про что?“

— „А за то, что люди добрые

Землю пашутъ, знай, въ поту лица,

А тебѣ и горя мало: растянулося,

День-деньской безъ дѣла проклаждаешься.“

— „Да коль ваше дѣло-то крестьянское

Не по праву мнѣ, не по сердцу?

Хоть на мѣстѣ разрази сейчасъ—

Не могу пахать, и только!“

— „Что же можешь ты?“

— „Торговать могу. Займись торговлею.

Батракомъ, увидишь, не нахвалишься.“

— „Хорошо сказать: займись торговлею!

Да на что ее вести-то, боль и грѣша иѣтъ?“

— „А продай домишко свой; что выручишь—

Въ оборотъ пусти: вернешь сторицею.“

— „Такъ-ли, ой-ли?“

— „Вѣрь не вѣрь, какъ хошь.“ —

И махнулъ рукой мужикъ, послушался:





Все свое хозяйство деревенское  
 Съ молотка распродалъ до иголочки,  
 Перебрался въ городъ и на выручку  
 Торговать тихонько, помаленьку сталъ.  
 Чтò ни купить, ни продать—все съ прибылью,  
 Загрѣбаютъ денежки лопатою.  
 Вотъ и домъ себѣ построилъ бѣлокаменный,  
 Зажилъ въ немъ съ семьєю пригвѣзавочи.

И дошла тутъ вѣсть о томъ до брата старшаго.  
 Обуяла скрягу зависть лютая,  
 Самъ собрался въ городъ, убѣдиться въ томъ.  
 Смотрить: точно, домъ въ пять ярусовъ,  
 Въ дверь вошелъ—хоромы барскіе.  
 Обидося кровью сердце алчное,  
 Затаилъ въ себѣ онъ злобу тайную,  
 Поклонился низко брату младшему,  
 Сталъ разспрашивать медовымъ толокомъ:

„Ужъ сказки-ка, братецъ, мнѣ, повѣдай-ка,  
 Какъ изъ нищихъ ты да въ богачи попалъ?“

И повѣдалъ тотъ по чистой совѣсти,  
 Какъ къ нему пристало Горе-горемычное,  
 Какъ они съ нимъ зиму нагулялися,  
 Какъ въ лѣсу себѣ онъ началъ яму рыть,  
 Да какъ Горе кстаги подвернулося —  
 За него спустилось, улеглось туда.

Намоталъ себѣ то на усь старшій братъ,  
 Не простился даже съ братомъ, а въ телѣгу сѣлъ  
 И прямымъ путемъ воѣхалъ въ темный лѣсъ.

„Дай-ка“, думаетъ, „я Горе выпущу:  
 Пусть-ка брата снова раззорить до-тла.“

Своротилъ съ могилы камень въ сторону,  
 Наклонился только: тамъ ли все еще?  
 А оно къ нему ужъ мигомъ на спину.

„А!“ кричить: „попался! не уйдешь теперь!“

— „Что ты, Горе!“ завопилъ мужикъ:

„Это братъ, вѣдь, засадили тебя,

Я тебя, напротивъ, выпустилъ:

Ты ступай къ злодѣю, разори до-гла...“



Разсмѣялось Горе на ту рѣчь въ отвѣтъ.

„Нѣтъ, любезный, не пойду къ нему!

Онъ, вѣдь, злоецъ, похоронить меня,

Ты же добръ, на волю выпустилъ;

Въ вѣкъ тебя за это не покину я.“ —

И сдержало Горе слово: на спинѣ его  
Навсегда засѣло крѣико-на-крѣико;  
И пошло его хозяйство деревенское  
Вкривь и вкось: немного времени —  
Разорило Горе богача въ конецъ.

Такъ-то сказываютъ сказку люди старые  
Молодымъ про Горе-горемычное.





## ХИТРАЯ НАУКА.



ь некоторомъ царствѣ жила - была старуха бѣдная, безпріютная. Былъ у нея сынъ, и захотѣлось ей отдать сына въ такую науку, чтобы можно было ничего не работать, сладко ѣсть и пить и чисто ходить. Только кого ни спросить — всѣ ее на смѣхъ поднимають:

— Ишь, чего захотѣла! Губа-то у тебя не дура. Хоть весь свѣтъ исходи, а такой науки не найдешь.

А старухѣ все нейдетъ, продала свою избушку и говорить сыну:

— Собирайся - ка въ путь, пойдѣмъ искать легкаго хлѣба!

Вотъ и собрались они, пошли. Ходятъ изъ города въ городъ, гдѣ ни спросятъ—никто даромъ учить не беретъся, а про хитрую-го науку, что надо старухѣ, никто и слыхомъ не слыхалъ. Исходили все царство, повернули назадъ. Идетъ старуха съ сыномъ, пригорюнилась.

Попадается имъ на встрѣчу человѣкъ и спрашиваетъ старуху:

— Чего, бабушка, пригорюнилась?

— Какъ мнѣ, батюшка, не пригорюниться!—отвѣчаетъ старуха:—вотъ водила-водила сына, никто не беретъ безъ денегъ въ науку, какъ легкій хлѣбъ добывать, безъ работы сладко ѣсть и пить и чисто ходить.

— Отдай мнѣ, я выучу,—сказалъ встрѣчной.—Ровно черезъ три года, въ этотъ самый день, въ этотъ самый часъ приходи сюда за сыномъ; да смотри: коли не просрочишь, придешь во-время да узнаешь своего сына—бери его назадъ, и за ученье не возму съ тебя ни копейки; а коли до трехъ разъ не узнаешь—оставаться ему у меня на всегда.

„Какъ“, думаетъ старуха, „не узнать своего роднаго дѣтища?“

Такъ обрадовалась старая, что и не спросила: кто такой встрѣчной, гдѣ живетъ; отдала сына и распрощалась съ нимъ на цѣлые три года:

— Живи, не тужи!

А былъ встрѣчной—послѣдній колдунъ. Другіе, вишь, всѣ ужъ перемерли, а онъ одинъ съ своей дочкой остался.

Вотъ прошли три года, перебивалась старуха изо дня въ день, не просрочила условнаго дня, съ утра забралась на то самое мѣсто, присѣла на камешекъ и ждетъ. Подо-

шелъ тотъ самый часъ, идетъ по дорогѣ колдунъ, уви-  
даль ее:

— Что,—спрашиваетъ,—за сыномъ пришла?

— За сыномъ, батюшка.

Засвистать колдунъ молодецкимъ послестомъ; откуда ни  
возьмись вдругъ двѣнадцать пчелъ, жужжать вокругъ ста-  
рухи; съ испугу она только руками отмахивается. Усмѣх-  
нулся колдунъ:

— Не боись, старая. Тутъ и сынъ твой. Влучилъ и  
его всѣмъ хитростямъ. Коли хочешь его—узнавай и бери  
себѣ.

— Что ты меня дурачишь, добрый человекъ?—сказала  
старуха;—гдѣ тутъ быть моему сыну? Я дала тебѣ молодца,  
а это пчелы.

— Не пчелы,—отвѣчать колдунъ,—а двѣнадцать мо-  
лодцевъ. Всѣ также несли легкаго хлѣба, поцали ко мнѣ  
въ науку, да одиннадцать-то изъ нихъ на всегда такъ при-  
мѣ и остались — отъ того, что родители не могли ихъ  
признать; двѣнадцатый—твой сынъ; не признаешь—и ему  
при мнѣ остаться на вѣки вѣчные.

Поблѣднѣла старуха, такъ и затряслась:

— Батюшки-свѣты, да какъ же мнѣ признать-то? Всѣ  
одна въ одну...

Тутъ одна пчелка какъ подлетить къ старухѣ да хлоп-  
нетъ ее въ щеку—старуха взвизгнула, въ сторону шарах-  
нулась:

— Ахъ ты, проклятая!

— Ну, такъ что же, не признаешь? — спросить еще  
разъ колдунъ.

— Не признаю.

— Такъ приходи же теперь за сыномъ черезъ другіе  
три года. Пчела-то, что хлопнула тебя по щекѣ, и былъ  
твой сынъ.

Заплакала старуха и воротилась назадъ одна одине-



хонька. Выждала три года и опять идет за сыномъ. Пришелъ колдунъ, свистнулъ своимъ молодецкимъ посвистомъ, и прилетѣло двѣнадцать бѣлыхъ голубей.

— Узнавай сына!—говорить старухѣ.

Вотъ она смотрѣла-смотрѣла: всѣ двѣнадцать перо въ перо, хвостъ въ хвостъ, голова въ голову ровны: какъ тутъ узнать? Всѣ сидятъ смиренно, а одинъ-то голубь нѣтъ-нѣтъ да носикомъ перышки и давай обчищать. Видитъ старуха, да не въ домекъ ей.

— Нѣтъ,—говорить,—не признаю.

— А этотъ-то, что перышки обчищать, и есть твой сынъ,—сказалъ колдунъ.—Приходи-же опять черезъ три года; то будетъ послѣдній разъ: коли и тогда не угадаешь—простись на вѣки съ сыномъ.

Прошли еще три года, идетъ старуха за сыномъ въ послѣдній разъ. Свистнулъ колдунъ своимъ молодецкимъ посвистомъ, и приближало двѣнадцать жеребцовъ—всѣ на одну стать, одной масти, вороные, и гривы на одну сторону.

— Ну, который же твой сынъ?

Разъ прошла старуха мимо жеребцовъ—ничего не примѣтила; въ другой прошла—тоже ничего; а какъ проходила въ третій разъ—одинъ жеребецъ и топилъ о земь копытомъ. Догадалась тутъ старуха, указала:

— Вотъ мой сынъ!

— Узнала, матушка, узнала!—сказалъ колдунъ.—Не ты мудра-хитра, мудѣрь-хитѣрь твой сынъ! Да дѣлать нечего, бери его домой.

А конь ужь оборотился молодцемъ, и пошла она съ сыномъ домой.

— Ну, матушка,—говорить сынъ:—каково тебѣ жилось безъ меня?

— Охъ, холодно, голодно!—сказала старуха.—И крыши-то у избенки нечѣмъ починить, и перекусить-то нечего.

— Ста рублей тебѣ на первый разъ будетъ?

— Ста рублей?!—вскричала старуха.—Да я въ жизнь свою ста рублей заразъ не видѣла. Гдѣ они у тебя?

— Погоди. Слушайся только меня. Видишь, охотники скачутъ?

Смотрятъ старуха: и впрямь, на встрѣчу охотники скачутъ, звѣря краснаго промышляютъ: впереди лиса бѣжить, отъ нихъ уйти наровить.

— Я обернусь гончей, — говоритъ сынъ, — схвачу лисицу. Какъ станутъ охотники отбивать звѣря, скажи имъ: „Господа охотники, это мой песъ, я тѣмъ голову свою кормлю!“ Станутъ они меня торговать у тебя; а ты требуй сто рублей. Да только чуръ, смотри: ошейника не продавай.

Сказавъ такъ-то, да въ ту-же минуту ударился о землю и оборотился гончей, нагналъ лисицу и схватилъ ее. Набѣжали охотники, напустились на старуху:

— Ахъ ты, старая! что нашу охоту перебиваешь!

— Господа охотники, — сказала старуха, — это мой песъ, я тѣмъ голову свою кормлю.

— Продай намъ пса, — говорятъ охотники.

— Купите.

— А что просишь?

— Сто рублей.

— Эй, старуха, не дорогонько-ли будетъ?

— Нѣтъ, кормилыцы, не дорого: сами видите, каковъ звѣрь-то?

Отсчитали ей сполна всѣ сто рублей. Только стала-было старуха ошейникъ снимать—куда! охотники и слышать не хотятъ, упираются.

— Я ошейника не продавала, — говоритъ старуха: — а продала одну собаку.

А охотники: — Нѣтъ, нѣтъ! кто купилъ собаку, тотъ купилъ и ошейникъ.



Старуха подумала - подумала: „Вѣдь и впрямь, безъ ошейника нельзя купить собаку?“ и отдала ее съ ошейникомъ, забрала деньги и пошла домой.

Вотъ охотники ѣдутъ себѣ да ѣдутъ, гляди — бѣжить лисица. Пустили за нею своихъ гончихъ; тѣ гоняли-гоняли, не могли догнать.

— Пустимте-ка, братцы, новаго пса!—говорить одинъ охотникъ. — Посмотримъ-ка его прыти.

Только пустили, смотреть: лиса бѣжить въ одну сторону, песь въ другую—и убѣжалъ за старухой. Нагналъ ее, ударился о землю и сдѣлался молодцемъ по прежнему.

— Эхъ, матушка!—говорить:—зачѣмъ съ ошейникомъ продала? Ну, не повстрѣчай мы лисицы, я бы не воротился, такъ бы и пропалъ ни за что!

Ворогившись они домой и живутъ помаленьку. Крышу починили, ѣдыть не сыто, не голодно, да избушка вся ветхая, того гляди—повалится, вѣтеръ въ щели такъ и свищетъ, да и въ кошелѣ уже стало посветывать: изъ стаго рублей еле сто копѣекъ осталось.

— Эхъ, слыночекъ! — говоритъ старуха: — вотъ кабы было чѣмъ лѣсу купить да новую избенку выстроить!

— А двухсотъ рублей тебѣ будетъ?

— Двухсотъ рублей! да мы не избенку — избу цѣлую выстроимъ.

— Ну, такъ слушай. Обервусь я птичкой, понеси меня на базаръ и продай за двѣсти рублей: Только чуръ, клѣтки не продавай, не то домой не ворочусь.

По сказанному, какъ по писанному, ударился о землю, сдѣлался райской птичкой—ну, краше не бывало! Посадила ее старуха въ клѣтку и понесла продавать. Обступили старуху люди, на перебой торгуютъ дивную птичку: такъ она всѣмъ показалась! А болдунъ тоже тутъ какъ тутъ, призналъ старуху и догадался, чтò у ней за птичка въ клѣткѣ сидитъ. Спросила она двѣсти рублей; тѣ заторго-



вались, а онъ, не торгуясь, выложилъ всё деньги и взялъ клетку.

— Погоди, погоди, — говоритъ старуха: — я клетку не продавала.

Заспорилъ колдунъ, туда-сюда; да, благо, добрые люди вступились, не дали отнять у старухи ея клетку. Дѣлать нечего, взялъ колдунъ одну птичку, завернулъ въ платокъ и понесъ домой.

— Ну, дочка, — говоритъ дома, — купишь я опять нашего молодца!

— Гдѣ же онъ? покажи.

Распахнулъ онъ платокъ, а птичка какъ юркнула изъ рукъ, прямо въ открытое окошко, подвинулась вверхъ сердечная и скрылась съ глазъ, только хвостъ показала!

Пришла старуха въ избенку, оглянулась — ахъ слышь ужъ велѣдъ идти.

— Спасибо, — говоритъ, — родная, что на этотъ разъ не выдала.

Выстроили избу на славу. Только сморгнуть старуха въ окошко на дворъ да поохиваетъ.

— Что съ тобою, матушка? — говоритъ слышь, — ахъ не-можется?

— Ничего, голубчикъ, — говоритъ старуха; — да вонъ, какъ погляжу: изба избой у насъ, а во дворѣ хоть шаромъ покати — ни коровушки, ни лошади, ни свинки, ни курки.

— Этому-то можно помочь, — говоритъ слышь. — Я обернусь нынче жеребцомъ, веди меня на ярмарку и бери триста рублей. Только смотри: жеребца продавай, а уады ни-ни!

Ударился о сыру землю и оборотился жеребцомъ; повела его старуха на ярмарку продавать. Обступили старуху торговые люди, все барышники: тотъ даетъ дорого, другой даетъ дорого, а старуха просить того дороже,

триста рублей, ни копейки не спускает. Откуда ни возьмись колдунь, узнать опять.

— Вот мой супостат! будешь меня помнить! — думает про себя.

— За сколько жеребца продаешь, старуха? — спрашивает.

— За триста рублей. Меньше не возьму.

— Вот тебѣ всё триста.

Бросилъ ей деньги и вскочилъ на коня. Хотѣла-было старуха уаду снять; пхнулъ онъ ее на земь, усмѣхнулся:

— Что ты, бабушка! гдѣ это видано, чтобы коня без повода продавать. Эй, поберегись!

Ударилъ по коню — и былъ таковъ! Только тутъ догадалась старуха, кто купилъ у ней сына; горько заплакала и деньгамъ не рада.

А колдунь три дня, три ночи бѣдилъ на лихомъ жеребцѣ, скакать безъ отдыху по горамъ, по доламъ, пока совсѣмъ не упарилъ; тогда побѣжалъ домой, привязалъ коня за кольцо, въ столбу туго-на-туго, притянулъ голову такъ высоко, что еле дышать можно; самъ вошелъ въ избу и хвалится передъ дочкой:

— Ну, теперь ему не уйти, — говорить, — шабань!

— Кому это, батюшка?

— А нашему молодцу. Вотъ на дворѣ привязанъ стоять.

Побѣжала дѣвица посмотрѣть коня; видитъ: стоитъ конь до смерти измученный, весь въ мыль, а голова совсѣмъ кверху подтанута.

— Ахъ ты, бѣдный! — говорить: — какъ тебя изъбѣдилъ батюшка! какъ подвязалъ! А нѣтъ того, чтобы напоить, накормить.

Захотѣла подлиннѣй отпустить поводъ; стала распутывать да развязывать, а конь тѣмъ временемъ какъ вырвется изъ рукъ:



— Спасибо, красная!—крикнулъ ей человѣческимъ голосомъ, бросился въ чистое поле и пошелъ версты отсчитывать.

Побѣжала дочь къ отцу:

— Ай, батюшка, — говорить, — прости! грѣхъ меня попуталъ, коня упустила.

Какъ услышалъ про то отецъ, мигомъ хлопнулся о сыру землю, сдѣлался сѣрымъ волкомъ и пустился въ погоню. Вотъ-вотъ близко, вотъ достигнетъ, въ елочки разорветъ! Слышитъ конь погоню, ударился о землю, полетѣлъ по поднебесью бѣлымъ лебедемъ. Волкъ тутъ-же перекинулся чернымъ коршунѣмъ и летитъ за нимъ слѣдомъ. Нагоняетъ коршунъ лебедя: вотъ-вотъ ударитъ! Видитъ лебедь: внизу рѣка течетъ,—бухтыхъ прямо въ воду, обернулся ершомъ, опетинился. А коршунъ за нимъ щукою, не отстаетъ, что хошь. Ершь живо въ ракову нору: щука, де, ерша не беретъ съ хвоста.

— Эй, ты, ершь,—говоритъ щука, — повернись головой! я тебя съѣмъ.

— Врешь, проклятая щука!—отвѣчаетъ ершь;—ерша не съѣшь, подавишься. А коли ты, щука, востра—глотай ерша съ хвоста!

И такъ стояли трое сутокъ. Вздремнулось наконецъ шукѣ; а ершь шмыгъ изъ норы и побѣжалъ водою дальше; бѣжалъ-бѣжалъ, добрался къ плотамъ, гдѣ царская дочь бѣлье мыла, прыгнулъ изъ воды, перекинулся золотымъ кольцомъ, да прямо подкатился къ ней подъ ноги. Подняла царевна кольцо, вадѣла на пальчикъ и любитъ; а сама говорить:

— Кабы по этому колечку да найти мнѣ добра молодца—жениха себѣ!

А щука уже тутъ какъ тутъ, обернулась добрымъ молодцемъ; подошелъ молодецъ къ царевнѣ, а самъ-то разбойникомъ высматриваетъ:



— Такъ и такъ, — говорить, — подняла ты мое колечко, отдай назадъ, да и выходи за меня.

Осерчала царевна страсть, сдернула кольцо съ пальчика и бросила на земь:

— Какъ-бы не такъ! — говорить.

А колечко рассыпалось мелкими зернами, и одно зернышко подекатилось царевичъ подъ башмачокъ. Колдунъ мигомъ обернулся пѣтухомъ и давай клевать зерна: поклеваль все, взлетѣлъ на окно, захлопалъ крыльями и закричалъ:

— Кукуреку! кого хотѣлъ, того и сѣлъ!

Тутъ выкатилось изъ-подъ царевнина башмачка последнее зернышко и оборотилось яснымъ соколомъ. Бросился соколъ на пѣтуха, запустилъ въ него свои острые когти, сталъ щипать-гребить — только перья сыплются!



— Ой, отпусти, любезный! — закричалъ пѣтухъ.

— Врешь, братъ! — отвѣчалъ соколъ; — не бывало того, чтобы соколъ пѣтуху спуску давалъ.

И разорвалъ его на-двое.

Потомъ ударился о сыру землю и сталъ такимъ красивемъ, что ни вадумать, ни загадать, ни перомъ написать. Царевичъ онъ такъ приглянулся, что сейчасъ же за него и вышла, еле успѣвъ позвать на свадьбу мать-старуху. А ужъ какъ обрадовалась старая — и сказать нельзя!

— Вотъ, молъ, не думала, не гадала, а въ царьцѣ по-  
шла! Ну, спасибо-жъ тебѣ, родимый, утѣшилъ на ста-  
рость! добылъ легкаго хлѣба!

Добылъ онъ легкаго хлѣба, да съ той же поры и пе-  
резабылъ свою науку. И сколько послѣ того другихъ ни  
ходило за легкимъ хлѣбомъ, никто уже не находилъ: съ  
последнимъ волдуномъ стинула и хитрая наука.



## БАЙКА О ШУКѢ ЗУБАСТОЙ.



акъ-то въ лѣтнюю ночь въ  
Шекснѣ родилась рыба-  
щука,  
Да такая зубастая, ишь,  
что Боже помилуй!  
Собралися все рыбы: и ле-  
щикъ, и ершикъ, и окунь,  
Поглязѣть на нее, поди-  
виться великому чуду.  
И вода той порою въ Шек-  
снѣ поднялась, всколыхалась;

Шель паромъ черезъ рѣку—да еле ко дну не пошолъ вѣдь;  
Красны дѣвушки мимо гуляли—все врозь разбѣжались.  
Уродилась же злая щука зубастая, право!

А и стала расти; не по днямъ—по часамъ разрасталась.  
Каждый божій день на вершокъ, да выросла страсти!  
А и стала похаживать щука въ Шекснѣ, стала гнаться  
За лещами зубастая, за окунями, ершами:  
Надали углыдить, подлетить да какъ схватить зубами—  
Ажно восточки только хрустятъ на зубахъ у зубастой.  
Вотъ аказія, братцы, въ Шекснѣ-то у насъ приключилась!  
Что тутъ дѣлать всей мелкой рыбицѣ? Тошно приходитъ:  
Эта щука зубастая всехъ ихъ приѣсть, прикорнаеть.



Въ камышахъ потвенныхъ, осеннею темною ночью,  
Собралися всею мелкаго рыбаца думушку думать,



Какъ бы имъ извѣсти эту злую разбойницу-щуку?  
А и былъ на совѣтъ щетинистый Ершикъ Ершовичъ,

Во все горло какъ крикнетъ:

«Да что намъ раздумывать, братцы!  
Что намъ голову даромъ ломать, портить мозгъ по-пустому?  
Вотъ послушайте, что я скажу: намъ изъ Шекснѣ-то всѣмъ  
тошно.

Не даетъ намъ проходу зубастая, на зубъ хватается!  
Такъ чего же намъ ждать здѣсь еще? Свѣтъ не клиномъ сошелся!  
По добру по здорову уйдемъ-ка всѣ въ мелкія рѣчки,  
Тамъ не тронетъ никто, приживавочи жить себѣ будемъ.»

По душѣ мелкой рыбицѣ умное слово пришлося,  
Подвизалась изъ Шексны, покидалася въ мелкія рѣчки.  
Правда, хитрый рыбарь по дорогѣ, какъ шли, изъ ихъ братьи  
Не одну изловилъ и сварилъ себѣ анатной ушницы. ●  
Но другія ушли отъ бѣды и живутъ и по нынѣ—  
Хоть не такъ, какъ въ Шекснѣ, на широкую барскую ногу.  
Да покойнѣй, безъ вѣчнаго страху насильственной смерти:  
Мелко плавать—и крупный обидчикъ не скоро достанетъ.

А обидница-щука? Сама отъ судьбы не ушла вѣдь:  
Погудяла еще по Шекснѣ, поглотаала остатки  
Мелкой рыбицы, что не успѣли съ другими убраться;  
Да потомъ съ голодухи какъ стала за удочкой гнаться—  
На крючекъ и попалась! Рыбакъ, какъ поймалъ, такъ и  
ахнулъ:

Отродясь не видалъ еще зкой большущей, зубастой!  
Взялъ, отвезъ ее въ городъ и дорого повару продать.  
А къ обѣду уху изъ нея господа ужъ хлебади.  
Самому мнѣ тамъ быть довелось, той ушницы отбѣдать—  
Преотмѣнная, братцы, была, прежирная; только  
Все по усу текло, и ни капельки въ ротъ не попало.

Вотъ и вся вамъ нехитрая байка о щукѣ зубастой!



## ЦЫГАНЪ-КОСАРЬ.



Иль въ деревнѣ мужикъ съ  
своей бабой,  
Дожделися они сѣнокоса.  
Вотъ пошелъ мужикъ по де-  
ревнѣ  
Понскать батрака косить  
сѣно—  
Нашелъ лишь гулящаго цы-  
гана.  
„Эй, цыганъ! косить сѣно  
умѣешь?“

— „А еще бы! вашихъ десять въ недѣлю  
Не накосятъ—что я въ одинъ сутки.“

— „Хорошо. Вотъ ты даромъ гуляешь,  
А я дамъ тебѣ деньгу заработать.“

— „Изволь, батенька. А много-ли дань-то?“—  
Сторговались они, пришли въ избу.

„Ну, хозяйка!“ мужикъ бабу окликнулъ:  
„Косаря-то лихаго раздобылъ я,  
Изготовь же и завтракъ на славу.“—

Изготовила завтракъ хозяйка,  
Подада простокваши двѣ кашни,  
Косаря не побрезговать просить;



Самъ хозяинъ стаканъ водки подносить.  
 Не побрезговалъ косарь, выпилъ водки,  
 Да давай оплетать простаквашу,  
 Какъ оплетъ—принялся и за кашу,  
 Только, слышно, скрипитъ за ушами!

„Вишь, какъ ѣсть-то!“ подумалъ хозяинъ:  
 „За троекъ! Знать, силенъ и въ работѣ.“

Собрались, взяли на плечи косы,  
 Подошли къ сѣнокосному лугу.

„Ну, давай же,“ говоритъ, „братъ, покосимъ.“

— „Что ты, батенька?“ цыгань отвѣчаетъ:

„Да какая-жъ безъ отдыха работа?

Отдохнуть-то хоть надо маленько.“

— „И то правда.“

Улеглись порядкомъ,

Да проспали до самаго обѣда.

Всталъ хозяинъ тутъ, будить цыгана:

„Полно спать, братъ; пора и за работу.“

— „Что ты, батенька? голодными работать?

Вишь, обѣдаютъ добрые люди;

Дай и намъ-то напередъ отобѣдать.“

— „И то правда.“

Принялся за хлѣбъ-соль,

Отобѣдали.

„Теперь, братъ, покосимъ.“

— „Что ты, батенька? съ полнымъ-то брюхомъ?

Послѣ хлѣба-соли требуется отдыхъ,

Такъ всѣ дѣлаютъ добрые люди.“

— „И то правда.“—

Опять завалились,

Часъ и два они спятъ безъ просыпа;

Уже къ полднику проснулся хозяинъ:

„Ну, вставай же, пора и косить-то.“

— „Что ты, батенька? ни крошки не ѣши?

Вишь, полуднують добрые люди;  
И намъ время. Работа не волкъ вѣдь—  
Въ лѣсъ отъ насъ не уйдесть.“

— „И то правда.“—

Закусили. Работникъ ретивый.  
Растянулся ужь безъ приваутокъ,  
Захрацѣль—индо лѣсъ ближній дрогнуль!  
Покачалъ головою хозяйинъ,  
Ждетъ-пождетъ, пока выспитса работникъ;  
Вотъ и солнышко за лѣсъ садится;  
Растолкалъ работника хозяйинъ:

„Время, братецъ, за работу приниматься!“

— „Что ты, батенька? Не видишь, вечерѣеть,  
Домой идуць ужь добрые люди;  
И намъ время на покой.“

— „И то правда.“—

Взяли косы, воротились въ деревню.

„Что же, батенька“,

Молвить работникъ:

„Цѣлый день на тебя я работалъ,  
Заплати-ка мнѣ теперь по уговору,“

— „Нѣтъ, любезный, ты мнѣ еще нуженъ;  
Приходи на весь день еще завтра;  
Тамъ получишь ужь за два дни разомъ.“

— „Ладно, батенька.“

— „Пожалуйста, братецъ!“—

Только вышелъ работникъ, хозяйинъ

Говорить своей бабѣ:

„Ну, хозяйка!

Бѣ утру завтракать намъ не давай ты,  
На обѣдъ пустыхъ щей припаси лишь,  
За то къ ужину курицу зажаришь,  
Да личицу, что-ль, приготовишь.“—

Вотъ стучится по-утру работникъ;

А хозяйинъ давно закусилъ ужь,

Да и водки стаканъ пропустилъ ужъ;

Отперъ дверь, самъ съ женою бранится:

„Ишь, засналась, на печи развалялась!

И косарь ужъ пришелъ, а ты, баба,

Не могла намъ и завтракъ приготовить.“

— „Что вамъ ждаты?“ отвѣчаетъ хозяйка:

„Вы ступайте-ка съ Богомъ на работу,

А я завтракъ поеамѣсть приготовлю,

Да сама вамъ вынесу въ поле.“

— „Что подѣлаешь съ глупою бабой?

Волось дологъ, а умъ-то коротокъ!

Ну, пойдемъ косить сѣно, любезный,

А ты, баба, смотри, не конайся!“

— „Живо буду,“ отвѣчаетъ хозяйка.

Собрались, взяли на плечи косы,

Пришли въ поле.

„Ну,“ молнитъ хозяйка:

„Настрацать я ее: живо будетъ;

А куда маленько покосимъ.“

Принялись косить; мужику-то

Косить ловко: наѣлся вилотную.

А цыганъ-то натошакъ, лишь кряхтитъ, знай:

„Эво“, думаетъ, „даль же я маху!

Знать бы,—право, совсѣмъ не приходилъ бы.“

Косить-косить, да назадъ обернется:

Не идетъ-ли баба? Нѣтъ, не видно!

А ужъ время къ обѣду подходитъ.

Мужикъ косить, а самъ-то бранится:

„Погоди-жь ты, такая-сякая!

Вотъ ужъ я раздѣлаюсь съ тобою.“

Съ голодухи цыганъ чуть не плачетъ,

Оглянулся опять на дорогу:

Показалась изъ лѣсу баба.

„Глянь-ка, батенька, не твоя-ль это баба?“



— „Анъ и вправду моя. Погоди-жь ты!“ —  
 Бросилъ косу, бѣжитъ къ ней на встрѣчу,  
 Да какъ вырветъ горшокъ, хватить о земь —  
 Одни только черенки полетѣли.  
 Баба, будто и не на шутку, завизла.  
 Подбѣжалъ работникъ:

„Ну, хозяйка!

Гдѣ твой завтракъ? Скорѣй подавай-ка.“

— „Ты спроси у моего буйна!

И меня-то разбилъ, и посуду.“

Напустился на хозяина работникъ:

„Эхъ ты, батенька! Шуть тебя дернутъ!

Ты зачѣмъ побѣжалъ къ ней на встрѣму?

И сама-бъ подошла. А теперь вотъ

Голодай изъ-за тебя, какъ собака.“

— „Извини, братъ! До дому потерпи ужъ,

Какъ-нибудь доработаемъ не ѣвши.“ —

Принялися косить они снова.

Вотъ и вечеръ; крутомъ потемнѣло.

Глядь, все поле заразъ отмахали.

Взяли косы, пошли на деревню;

А цыгань-то совсѣмъ домахался,

Изъ силъ выбился, еле плетется.

Пришли въ избу, усѣлись за ужинъ.

Подала въ большой чашкѣ хозяйка

Пустыхъ щей имъ — туманъ только ходить!

Одну ложку хозяинъ отвѣдалъ

И не ѣсть ужъ, а цыгань съ голодухи

Такъ пошолъ уписывать, что любо!

Уписалъ одинъ подную чашку;

Налила ему хозяйка другую —

До-чиста и ту обработалъ;

Барабаномъ набилъ себѣ брюхо,

До отвалу, обжора, нажрался.

Принесла тутъ яичницу хозяйка,  
 Принесла и зажаренную куру.  
 Какъ увидѣлъ цыганъ—весь затрясся;  
 Радъ бы ѣсть—да душа не принимаетъ!  
 Обозлился ужась, разбранился:

„Ахъ, ты подлая! сьумѣла наготовить,  
 А подать-то на столъ не сьумѣла.  
 Хоть одно бы словечко за щами  
 Про яичницу, про курицу сказала?“

А хозяйинъ ухмыляется только,  
 Да яичницу съ курицей смачно,  
 Знай, за обѣ щечи уплетаетъ.  
 Какъ накушался до-сыта, молвилъ:

„Ну, спасибо, цыганъ за компанью,  
 Что хлѣбъ-солью нашей не побрезгалъ:  
 Чѣмъ богаты, братецъ, тѣмъ и рады.  
 А что мастеръ косить ты—это вѣрно:  
 Отмахали безъ отдыха все поле.  
 Вотъ и деньги сполна за работу;  
 Впередъ милости просимъ, любезный.“

Промолчалъ цыганъ, только плюнулъ,  
 Принялъ деньги и вышелъ, не простившись.  
 Да съ тѣхъ поръ никто ужъ цыгана  
 Не видалъ на крестьянской работѣ.



## СОЛНЦЕ, МОРОЗЪ И ВѢТЕРЬ.



ель мужикъ полемъ. Повстрѣчались ему три добрыхъ молодца: Солнце, Морозъ да Вѣтеръ.

— Здорово, землякъ!—сказаль мужикъ и сняль шапку.

— Да ты кому это кланяешься?—спросило Солнце.— Вѣрно миѣ, чтобъ не пекло тебя?

— Какъ бы не такъ!—сказаль Морозъ.—Онъ меня больше боится.

— А меня больше любить!—перебилъ Вѣтеръ.—Значить, поклонъ мой.

Заспорили пріятели, чуть не схватились за вихры.

— Да коли такъ,—сказаль наконецъ Вѣтеръ,—спросимъ самого.—Эй ты, землячекъ! кому ты это поклонъ отдашь? Вѣдь миѣ, Вѣтру?

— Тебѣ, братецъ.

— Постой, сиволапый!—запыхтѣло Солнце.—Испеку тебя какъ рака. Вспомнишь меня!

— Не бось, землякъ!—свистнулъ Вѣтеръ.—Я его отдую.

— Такъ я же тебя заморожу!—затрещаль Морозъ.

— Не бось, землякъ!—свистнулъ Вѣтеръ.— Не стану дуть—и онъ тебя не тронетъ.





## ТРИ КОПѢЧКИ.



Иль-быль мальчиш-сиротника; кормиться было не чѣмъ; пошелъ онъ къ богатому мужику и нанялся въ работнику. Хозяинъ его былъ челоѣкъ справедливый, платою не обижалъ. Только кончился годъ, онъ ему мѣшокъ денегъ на столъ:

— Служить ты мнѣ честно, — говоритъ; — бери, сколько хочешь!

А самъ въ двери и вышелъ вонъ. Подошелъ сиротника къ столу и думаетъ: „Какъ бы передъ Богомъ не согрѣшить, за труды лишняго не положить?“ Выбралъ одну копѣчку, пошелъ къ колодезю и бросилъ ее въ воду: „Коли не потонеть,“ говоритъ, „такъ возьму! значить, служить хозяину вѣрой и правдой.“

Копѣчка потонула.

Другой бы на его мѣстѣ заплакалъ, загужилъ и съ досады руки сложилъ, а онъ нѣтъ: „Видно,“ говоритъ, „я худо работалъ, мало трудился; теперь стану усердѣй!“

И снова за работу—каждое дѣло въ его рукахъ огнемъ горитъ! Кончился срокъ, минулъ еще годъ, хозяинъ ему мѣшокъ денегъ на столъ.

— Бери, — говоритъ, — сколько душа хочетъ!

А самъ въ двери и вышелъ вонъ. Взялъ сиротника опять одну копѣчку, бросилъ въ колодезь—опять потонула.

Еще усердѣйй принялся онъ за работу: ночь не досыпаетъ, день не доѣдаетъ. Погляднись: у кого хлѣбъ сохнетъ, желтѣетъ, а у его хозяина все тучнѣетъ; чья скотина ноги

завизгаеть, а его по улицѣ брыкаеть; чьихъ коней подь гору тащать, а его и въ поводу не сдержатъ. Кончился срокъ, миновать третій годъ, хозяинъ кучу денегъ на столъ:

— Бери, сколько душа хочеть; твоей грудь, твоя и деньга!

А самъ въ двери и вышелъ вонъ. Береть сиротника опять одну копѣчку, бросаетъ въ колодезь—глядь: послѣдняя копѣчка цѣла, и прежнія двѣ наверхъ всплыли. Подобрать онъ ихъ, догадался, что Богъ за труды наградилъ, пошелъ вдоль по дорогѣ въ свои мѣста. Вдругъ на встрѣчу купецъ—къ обѣднѣ идетъ. Даетъ онъ тому купцу всѣ три копѣчки и проситъ свѣчку образамъ поставить.

Взошелъ купецъ въ церковь, даетъ изъ кармана своего денегъ на свѣчи, да одну-то изъ копѣчекъ сиротники на полъ обронилъ. Вдругъ отъ той копѣчки огонь возгорѣлъ. Люди въ церкви изумились, спрашиваютъ:

— Кто копѣчку обронилъ? Вѣрно, праведная душа!

Купецъ говоритъ:—Я обронилъ, да даль-то мнѣ ее на свѣчу какой-то работникъ.

Люди взяли по свѣчѣ и зажгли отъ той копѣчки. А купецъ вышелъ изъ церкви, идетъ по улицѣ, видитъ: малые ребятнишки поймали котенка и мучавтъ. Жалко ему стало.

— Продайте мнѣ, ребятнишки этого котенка,—говорить.

— Купи.

— Что возьмете?

— Давай копѣчку.

Взялъ купецъ изъ кармана другую копѣчку сиротники и отдалъ за котенка.

Долго-ли, коротко-ли, собрался купецъ за море, сварядилъ корабль, говоритъ себѣ: „Возму-ка съ собой котика; пусть на кораблѣ мышей ловить да меня забавляетъ.“

Поплылъ по морю, перебрался на другую сторону, въ тридцатое государство. А на то государство напалъ великій гнусь: мыши да крысы; куда не сунься, такъ стаями и



ходить! А про кошек-то тамъ и не вѣдали. Остановился купецъ на постояломъ дворѣ, а хозяинъ отвелъ ему такую комнату, куда отъ мышей да крысъ никто ногой ступить не смѣлъ: „Чужой, молъ, человѣкъ; пускай отбивается, какъ знаетъ!“

Пополь спать купецъ, да котика съ собой взять. Смотритъ: мышей да крысъ видимо-невидимо.

— Ну, братъ Василья, — говоритъ котикъ, — принимайся-ка за охоту, начинай ихъ душить-давить, а я стану загребать да въ кучу складывать.

Котикъ къ той охотѣ привыченъ; какъ пополь расправляется съ ними по своему: что ни цапнетъ—то и духъ вонь! Купецъ едва поспѣваетъ въ кучу складывать.

Потру хозяинъ входитъ въ ту комнату, думаетъ: „Живы ли еще?“

Анъ купецъ живехонекъ, держитъ въ рукахъ котика, гладитъ по шерстѣ; котикъ мурлычить да цѣсенки расцѣвываетъ; а на полу цѣлый ворохъ мышей да крысъ наваленъ! Какъ увидѣлъ хозяинъ, только руки разставилъ, побѣжалъ другимъ рассказать про дивнаго звѣрька. Дошла вѣсть и до тамоняго царя, хотѣлъ тоже посмотреть: правда ли бають, что одинъ маленький звѣрекъ да цѣлый ворохъ мышей и крысъ надавить? Приѣхалъ со всѣмъ дворомъ своимъ на постоянный дворъ, вошелъ въ ту комнату, да видитъ: вѣрно!

— Эй, добрый человѣкъ! — говоритъ купцу. — Дорогъ ли у тебя этотъ звѣрь?

Смекнулъ купецъ, что можно тутъ большую денегу зашибить; говоритъ:

— Не дорогъ, батюшка: на заднія лапки поставлю, за переднія подниму; засыпъ его золотомъ—съ меня и того довольно!

Очень ужъ, знать, дознавали царя мыши да крысы, не



сталъ и торговаться, велѣлъ засыпать кушчу котика золотомъ.



Отдалъ ему кушечъ котика, убралъ свое золото въ кузь и, справивши все дѣла, поѣхалъ назадъ. Плывеиъ онъ по морю и думаетъ: „А вѣдь котика-то я кушлль на работникову копѣчку: надо бы и все золото ему отдать? Да нѣтъ, жирно будетъ! Да и гдѣ его теперь отыщешь? Лучше все себя возьму!“

Только рѣшился на грѣхъ, вдругъ поднялась буря, да такая сильная—вотъ-вотъ корабль потонетъ!

„Ахъ, я окаянный!“ говоритъ себѣ кушечъ: „на чужое вольстился. Господи! прости меня, грѣшнаго! ни копѣйки не утаю.“

Сталъ онъ молитву творить—и тотчасъ вѣтры стихли,

море успокоилось, и приплыль корабль благополучно къ пристани.



А сиротинка тутъ какъ тутъ, на пристани кули муки носить.

— Точно тебя Богъ послалъ!—говорить ему купецъ.—

Брось ты эти кули; тащи вотъ кулъ золота: онъ твой.

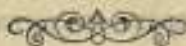
Тотъ и ротъ разинуль.—За что, про что?—говорить.

— А помнишь, далъ ты мнѣ три копѣечки образамъ на свѣчку?

— Помню,—говорить.

— Одна изъ церкви сама возгорѣлась, послужила людямъ свѣчи зажигать; на другую я котика купишь да за кулъ золота продалъ; стало быть, онъ твой; а послѣднюю еще не выдержалъ—возьми такъ; можетъ, когда пригодится.

Ваяль сиротинка назадъ послѣднюю копѣечку; золото уирався братъ; но купецъ и слышать не хотѣлъ, настояль на томъ. И зажилъ сиротинка приживаючи, золотомъ своимъ цѣлый вѣкъ добро творить. А послѣднюю копѣечку на счастье при себѣ сохранялъ—на черный день, да по сю пору, говорить, не выдалъ.



# БАЙКА О ТОМЪ, КАКЪ КОМАРЪ УБИЛСЯ.



аюшки, экое горе!  
Стукнуло, грянуло въ боръ,  
Громъ по горамъ прокатился:  
Съ дуба комаръ повалился,  
Брякнулся о коренище,  
Сбилъ-окровавилъ плечище.

Какъ тутъ слетались мухи,  
Тѣ грохогухи-горюхи,  
Стали про бѣднаго братца  
Слезно жужжать, убиваться:

„Ахъ, ты нашъ свѣтись, комарикъ,  
Какъ тебя жаль намъ, сударикъ!  
Если почнешь помирати,  
Гдѣ намъ тебя погребати?“

Охнула комаръ черезъ силу:  
„Ройте мнѣ въ полѣ могилу,  
Ройте въ зеленой дубравкѣ,  
Скройте во мягкой во травкѣ.



Тамъ, отъ работы усталы,  
Будутъ и стары, и малы



Мимо могилы гуляти,  
Про комара вспоминати:

Туть онъ лежитъ, комарице;  
 То-то былъ лихъ, ребятище!"

Мухи разохались тяжело:

„Какъ тебя жаль намъ, бѣдняжка!"

Къ счастью приползъ муравейчикъ,  
 Славный знахарь-чародѣйчикъ:

„Полно вамъ, мухи, вопити,  
 Гдѣ вашъ больной, покажите?"

Взявъ муравьиного салца,  
 Смазавъ плечо у страдальца—  
 И ничего, повемногу  
 Зажило все, слава Богу.

Мухи опять прилетали,  
 Наперерывъ поздравляли:  
 „Многя молодцу лѣта!  
 Жить тебѣ цѣлое лѣто!"



## ВОЛГА И ВАЗУЗА.



ли-гуляли чистымъ полемъ двѣ рѣки-сестрицы, Волга съ Вазузой. Старшая, Волга, была кротка, тиха; младшая, Вазуза—жива, рѣзва. И заспорила Вазуза, что она умнѣй, сильнѣй сестрицы, что ей и почету больше.

— Давай-ка, ляжемъ вмѣстѣ спать, — говорить Вазуза: — которая раньше встанетъ, да къ морю Каспiю добѣжитъ, та, значить, изъ насъ и умнѣй, и сильнѣй, и почетнѣй.

Легли спать; а Вазуза-то ночью потихоньку и встанъ и убѣжи отъ Волги; мечется то направо, то влево, окольными путями, то оврагъ размоетъ, то сквозъ чашу продерется, — умаялась рѣзушка.

Проснулась Волга, смотреть: гдѣ сестрица? куда! изъ глазъ вонъ. Пошла она ни шатко, ни валко, ни на сторону, потекла плавно, на Зубцовъ, догнала гуть Вазузу:



— Ай ты, шлутовка! чего зари не дождалась, ночью убѣжала?

— Ноги меня не носить!—плачется Вазуза.—Не сердись, сестрица; ты вѣдь и впрямь умнѣй, и сильнѣй, и почетнѣй. Будь мнѣ бѣльшею сестрицей, прими меня къ себѣ на руки и снеси съ собою къ морю Каспію.

И приняла ее на руки Волга, и понесла съ собою къ морю Каспію; и чѣмъ дальше бѣжить она, тѣмъ шире разливается, тѣмъ больше селъ и городовъ омываетъ, тѣмъ сочнѣе и краше одѣваетъ крутомъ поля и луга, тѣмъ больше слышитъ себѣ почету. А Вазуза все не унимается: чуть весна—рѣзавушка, не дождавшись сестрицы, сбрасываетъ зимнее одѣяло и бѣжить-бѣжить безъ оглядки, да только никогда дальше Зубцова добѣжать не можетъ.



## МОРОЗКО.



Водрастаѣ вмѣстѣ у старухи  
Падчерица да родная дочка.  
Ужъ родную какъ старуха любить:  
И лѣнива та, и нерадива—  
Мать за все лишь по головкѣ гладитъ,  
Умницею только называетъ;  
Падчерица какъ ни утѣждаетъ,  
А ничѣмъ ей угодить не можетъ:  
Все не такъ, все худо; а была вѣдь

Золото—не дѣвушка, ей-Богу:  
И скотинку напоить, накормить,  
И дрова, и воду въ избу носить,  
И въ избѣ все убрать до свѣту;  
Мачиха весь день ворчить, бранится:  
„И лѣнивица-то, и нериха!“  
Вѣтеръ пошумитъ хоть, да затихнетъ—  
Злая баба вѣчно не уймется.

Вотъ росли и выросли большими  
Обѣ сестры, сдѣлались невѣсты:  
Дочь родная все въ обновкахъ ходить,  
Цѣлый день предъ зеркаломъ проводить,  
Да, какъ мать, заносчива, брюзглива;  
Женихи посмотреть—отвернутся.  
Падчерица, какъ цвѣточекъ въ полѣ—  
Въ праздникъ, въ будни—все въ одномъ нарядѣ,

Да собой пригожа какъ цвѣточекъ:  
 Глазомъ взглянетъ—что рублемъ подарить,  
 Женихи очей съ нея не сводятъ.  
 Не могла ей то простить старуха,  
 Извести придумала бѣдняжку:

„Эй, старикъ, пора пристроить Машку,  
 Жениха я дѣвкѣ присмотрѣла.

Запрягай сейчасъ кобылку въ дровни,  
 Да вези-ка къ жениху невѣсту.“

Не успѣлъ старикъ собраться съ духомъ,  
 Выпучилъ глаза лишь, ротъ разинулъ—  
 На него притопнула старуха,  
 Побѣжалъ старикъ приказъ исполнить.  
 Услыхала мачиху невѣста,  
 Въ уголокъ забилася да плачетъ.

„Ты о чемъ?!“ накинудась старуха:

„Не на плаху повезуть—на свадьбу.  
 Суженый твой, можетъ, и крутенецъ,  
 Да поладить съ мужемъ бабѣ дѣло.  
 Ну, да полно нюни распускать-то!  
 Приодѣнься, приберись порядкомъ,  
 Чтобы сразу другу приглянуться.“

Что тутъ дѣлать! Поборицась Маша,  
 Поумылась, стала наряжаться:  
 Были послѣ матушки покойной  
 У нея воскресный сарафанчикъ,  
 Новые сапожки да сережки;  
 Нарядилась—хоть куда невѣста!  
 Нарядилась, Богу помолилась.

А старикъ уже къ крыльцу подъѣхалъ.  
 Нѣсколькото наинула косынку  
 На голову дѣвушкѣ старуха,  
 И, какъ есть, безъ шубки, въ сарафанѣ  
 Погнала на улицу; а время



Было зимнее, морозъ трескучій.

„Ну, садись.“ Къ отцу подошла Маша.

Тотъ теперь лишь справиться рѣшился:

„Да куда намъ ѣхать-то прикажешь?“

Забранилась баба: „Дурачина!

Поѣзжай прямой дорогой къ лѣсу;

Какъ заѣдешь въ самую труппу,

Тамъ ее и сбудешь за Морозка“.

Маша, какъ услышала то слово,

Еще пуще залилась слезами.

„Ишь, замгла! Думаешь, что съдѣ онъ,

Такъ тебѣ, молоденькой, не пара?

Ничего, не бось! Онъ молодчина:

Какъ начнетъ трещать въ лѣсу да щелкать,

Такъ мурашки побѣгутъ по тѣлу.

А ужъ сколько у него добра-то:

Все въ пуху, все въ серебрѣ да златѣ:

Ель и дубъ, береза и осина!

Да ты, старый хрычъ, чего захныкать?

Трогай! а не то!... Да ну! живѣ!“

Не посмѣлъ старикъ женѣ перечить,

Рукавомъ глаза отеръ, вдохнулъ лишь

И пустился съ дочкой въ путь-дорогу.



Поглядѣлъ: сидитъ въ одной косынеѣ,  
 Посинѣла, бѣдная, отъ стужи;  
 Сжалился, хотѣлъ прикрыть попонкой, —  
 Побоялся, молча отвернулся.

Долго-ли такъ ѣхалъ, коротко-ли,  
 Наконецъ добрался и до чащи,  
 Своротилъ съ дороги въ глушь лѣсную,  
 Да, забравшись въ самую трущобу,  
 Вывалилъ бездомную, какъ мусоръ,  
 На сугробъ, перекрестилъ скорѣе  
 И домой поѣхалъ безъ оглядки,  
 Чтобъ не видѣть дочериной смерти.

На снѣгу сидитъ она, трясется,  
 Про себя молитву тихо шепчетъ.  
 Вдругъ прислушалася: недалеко  
 Затрещали, защелкали сучья.  
 По деревьямъ прыгаетъ Морозко,  
 Прыгаетъ да скачетъ ближе, ближе,  
 Очутился на той самой ели,  
 Подъ которой дѣвица сидѣла,  
 Говоритъ съ усмѣшкою ей сверху:

„Что, моя красавица, тепло-ли?“

Посмотрѣла: у! какой косматый!

Весь въ снѣгу да въ ледяныхъ сосулькахъ!  
 Только красный носъ въ лицѣ и видѣнь,  
 Да зрачки, что уголья, сверкають.

Собралася съ духомъ, отвѣчала:

„А спасибо, батюшка Морозко!

Божье все тепло: и жарь, и холодъ.“

Ниже сталъ спускаться къ ней Морозко,

Пуще, чаще затрещалъ, защелкалъ:

„Что, моя голубушка, тепло-ля?“

Дѣвица духъ еле переводить,

А въ отвѣтъ: „Тепло, тепло, родимый!  
 Знать, Господь тебя послалъ миѣ, грѣшной.“  
 Онъ на самый нижній сукъ спустился,  
 Подъ ухомъ ей затрепалъ, защёлкалъ:  
 „Все еще, красавица, тепло-ли?“  
 Дѣвица совсѣмъ окоченѣла,  
 Но въ отвѣтъ чуть слышно прошептала:  
 „Ой тепло, Морозушко голубчикъ!“



Пришибить хотѣлъ ее Морозко,  
 Заморозить; но отвѣтъ разумный  
 По душѣ ему пришелся, видно:  
 Пожалѣлъ ее онъ и окуталъ,  
 Отогрѣлъ собольей мягкой шубой.  
 Поутру старуха мужа гонитъ:



„Поѣзжай-ка, мужь, за молодою;  
Да смотри, братъ, привези живою!“

Онъ запрегъ лошадку да поѣхалъ;  
А старуха, встрѣтить молодую,  
Съ вечера ужъ тѣсто замѣсила  
Да съ зарею печку истопила:  
Принялася печь блины—поминки  
По немолой падчерицѣ справить.

Вдругъ звенить веселый колокольчикъ,  
Скрипнули ворота, настезь двери,  
И везутъ сундукъ большой, тяжелый,  
А за сундукомъ идетъ невѣста,  
Падчерица Маша—да живая,  
Въ дорогой фатѣ, въ собольей шубѣ—  
Словно красно солнышко сілетъ!  
Какъ ее увидѣла старуха—  
Только руки врозь, глазамъ не вѣрить:  
„Ты откуда?“

— „Отъ Морозки, мама:

Старъ онъ, не хотѣлъ на мнѣ жениться,  
Но, должно быть, все-же полюбилась;  
Одѣлилъ меня фатой и шубой,  
Даль вогъ и сундукъ, приданнымъ полный.“

— „Эй, старикъ, бери-ка дочь Паруху,  
Да вези скорѣй на то-же мѣсто:  
Онъ ее не такъ еще уважаетъ!“

Вотъ повезъ старикъ и дочь Паруху,  
Высадилъ на томъ-же самомъ мѣстѣ.  
На снѣгу сидитъ, поджавши ножки,  
Въ подвѣчномъ дорогомъ уборѣ  
Да въ шубейкѣ новая невѣста.  
И въ шубейкѣ руки ознобило;  
Спрятала ихъ въ пазуху Паруха.  
Сталь морозъ ужъ подирать по кожѣ.

„Ишь ты лѣпшій!“ заворчала дѣвца:  
 „Тутъ за нимъ пожалуй оболѣешь.  
 Чу! не онъ-ли ѣдетъ съ колокольцемъ?  
 Погоди-жь ужь ты!“

## Издалика

Затрещали, защелкали сучья;  
 Съ елочки на елочку Морозко  
 Прыгаетъ да скачетъ, ближе, ближе;  
 Очутился прямо надъ Парахой,  
 Говорить съ усмѣшкою ей сверху:  
 „Что, моя красавица, тепло-ли?“  
 — „Ну, тебя!... Знобитъ, какъ въ лихорадкѣ,  
 А ему-бы все смѣшки да шутки!  
 Подавай приданое скорѣ!“

Низке сталъ спускаться къ ней Морозко,  
 Пуще, чаще затрещать, защелкать:  
 „Что, моя голубушка, тепло-ли?“  
 — „Сгинь ты, окаянный! Слѣзь ты, что-ли?  
 Руки, ноги, вишь, совсѣмъ отмерзли.“  
 Онъ на самый нижній сукъ спустился,  
 Сильно приударилъ:

„Что, тепло-ли?“

— „Убирайся къ черту въ омутъ, дьяволь!“  
 Молвила лишь—и обоченѣла.

Поутру старуха мужа гонить:  
 „Ну, старикъ, живѣе собирайся;  
 Положи сѣнца охапку въ сани,  
 Захвати теплѣе одѣяльце:  
 На дворѣ стоитъ морозъ ужасный;  
 Чай, Параха больно приозябла.  
 Да смотри, саней не опричини мнѣ,  
 Сундука не оброни съ приданымъ!“

Мужъ поѣхалъ; ждетъ-подождетъ старуха.  
 Вотъ опять ворѣта растворились;

Выбѣжала дочь встрѣчать старуха,  
Бросилась къ саямъ, разрыла сѣно,  
Отвернула одѣяло—что-же?

Передъ ней не дочь ея Параха,  
А холодное дѣвичье тѣло.

На весь дворъ заголосила баба  
И навзрыдь заплакала, да поодно!

Потужила тутъ, погоревала,

Кончила-же тѣмъ, чѣмъ-бы начать ей.

Помирилась съ падчерицей Машей,

Жениха сама ей подыскала

Изъ сосѣдей, славнаго такого.

Зажили счастливо Маша съ мужемъ:

Наградилъ Господь ихъ и здоровьемъ,

И добромъ, и дожиною дѣтокъ.

На ихъ счастье гляючи, старуха

По родимой дочкѣ стосковалась,

На могилу часто къ ней ходила,

Да однажды въ стужу не вернулась;

Какъ пошли искать, нашли старуху

Ужъ совсѣмъ остывшей на могилѣ.

Отъ тоски-ли смерть ей приключилась,

Иль морозъ пристукнулъ—неизвѣстно.

А старикъ досель внучать качаетъ,

Да богда ужъ больно расшалеется,

Трескуномъ-Морозкою стращаетъ.





## ЖУРАВЛЬ И ЦАПЛЯ.



а болотѣ одномъ въ двухъ избушкахъ  
Жили какъ-то Журавль да Цапля.  
Скучно жить бобылемъ показалось  
Журавлю, и задумалъ онъ жениться:  
„Дай, пойду, посватаюсь на  
Цапль.“

Вотъ пошелъ онъ, замѣсилъ  
болото,  
Вотъ приходитъ, стучится въ ворота:  
„А что дома-ли Цапльинька?“

— „Дома.“  
— „Здравствуй, милая! иды  
за меня замужь.“  
— „Нѣтъ, Журавль, не пойду  
за тебя замужь:

У тебя хоть ноги-то и долги,  
Да платье ужъ больно коротко,  
И летать-то хорошенько не умѣешь;  
Какъ-же ты кормить меня будешь?  
Ступай прочь, отвязься, долго-  
вязый!“ —

Убрался тотъ, какъ не солоно хлѣбавши.  
Поелъ Цапля стосковалася, сказала:

„А и чѣмъ же Журавль мнѣ не пара?  
У самой ноги мало бороче.  
Чѣмъ одной жить, пойду-ка ужъ замужь.“

Вот пошла, семь верст по болоту  
Промѣсила, приходитъ, стучится:

„Эй, Журавль, отойрися.“

— „А кто ты?“

— „Да я, Цапля.“

— „А что тебѣ надо?“

— „Такъ и быть, бери меня замужь.“

— Опоздала! И самъ я раздумалъ.

Не прогибвайся, иди себѣ съ Богомъ.“—

Цапля даже прослезилась, разревѣлась

Со стыда, и домой воротилась.

А Журавль поквачалъ головою:

„Какъ растрогалась-то! Видно, приглянулся.

Ужъ пойдти развѣ, все-таки жениться?“

Пошелъ къ Цаплѣ опять:

„Такъ и такъ, мать,

Жаль тебя мнѣ; возьму уже замужь.“

— „Не хочу же теперь! Убирайся!“

Какъ ушлепелъ журавль, спохватилась:

„И зачѣмъ я его прогнала-то?

Все-же лучше пойдти за него замужь.“—

Пошла свататься, а онъ ужъ не хочетъ.

Такъ-то ходять, мѣсяцъ они болото

О сю пору—и не могутъ жениться.



## ПРОСТОФИЛЯ.

(Подборъ народныхъ прибаутокъ.)

— 111 —



рошу мою сказку не перебивать! А кто перебьетъ, тотъ грехъ дней не проживеть.

Накосить мужикъ сѣна, поставилъ стожокъ среди поляца... Не сказать-ли оный съ конца?

Нѣтъ? ну, ладно, не перебили, расскажу-же вамъ о мужикѣ-простофилѣ, какъ онъ съ братомъ сѣно косилъ. Хоть и слылъ онъ глушишкой, — да своимъ слабымъ умишкой, своими глухими глазами видѣлъ многое — чтò другому и умному не въ доめкъ. Ѣдетъ онъ съ братомъ по сѣно, а самъ поетъ:

— Бѣгутъ бѣгунчики, батяты кагунчики, везутъ рогатнику, колотъ мохнатнику!

Стоитъ на дорогѣ верстовой столбъ.

— Ишь ты! — говоритъ простофиля: — самъ хоть не видить, а другимъ указываетъ; иѣмъ и глухъ, а счетъ знаетъ. Вѣтеръ имъ по шесту полю въ лицо дуетъ.

— Молодчина! — говоритъ простофиля.



— Кто такой?— спрашиваетъ братъ.

— Да вонъ вѣтеръ: безъ крыль летитъ, безъ ногъ бѣжить. А знаешь-ли, отчего онъ дуетъ?

— Отчего?

— Сверху небо, снизу земля, а съ боковъ-то ничего; вотъ оно и продувается.

Подъѣхали къ рѣкѣ; на берегу трава по вѣтру колыхается.

— Всякъ во что гораздъ, — молвить простофиля: — Вода говоритъ: „Побѣжимъ, побѣжимъ!“ Берегъ говоритъ: „Постоймъ, постоймъ!“ Трава говоритъ: „Пошатаямся, пошатаямся!“

— Эй вы, воры!—закричалъ онъ тутъ рыбакамъ, что рыбу неводомъ изъ воды тащили.

— Чего бранишься? — обидѣлись рыбаки.

— Да какъ-же не воры: хозяевъ изъ дому украли, а домъ-то отъ хозяевъ въ окошки ушелъ.

Стали подъѣзжать къ сѣнокосу. Увидѣлъ простофиля поле, вокругъ поля изгородь, говоритъ:

— Криво-лукаво мимо бѣжало, зелено-кудряво спрашивало: „Криво-лукаво, куда ты бѣжишь?“ — „Зелено-кудряво, тебя беречь.“

Стали косить — умаллись. Зашли въ лѣсокъ—вадремнуть.

Лежитъ простофиля, а самъ все вокругъ видитъ, все слышитъ: и муравья въ травѣ, и пчелу на цвѣткѣ.

— Ахъ ты, скупой, скупой!—говоритъ онъ муравью: — не по себѣ ношу тащишь, да никто тебѣ спасибо не скажетъ, о себѣ только хлопочешь. Вонъ пчелка по искоркѣ носить, да Богу и людямъ угождаетъ.

Налетѣлъ на него комаръ, сѣлъ на руку. Простофиля ему не мѣшаетъ, только со всѣхъ сторонъ оглядывается:

— Страшный ты, братъ, звѣрь: крылья орловы, хоботы слоновы, груди конинныя, ноги львиныя, голосъ мѣдный, носъ желѣзный; звѣри отъ тебя стонутъ, люди

дрожать. А убить тебя не могли: какъ убьешь — свою-же кровь прольешь. Ну, что, уцѣлся? Лети съ Богомъ, не поминай лихою!

Вдругъ какъ вскочетъ: что-то около свищетъ!

— Ай, батюшки, что-же это такое?

Кинулся въ бокъ — свищетъ! кинулся въ другой — свищетъ! Тутъ только догадался:

— Анъ это вѣдь у меня въ носу!

Сталъ слѣзать съ березы; вдругъ откуда ни возьмись пуля: летить, жужжить.

— Ай!

Отмахнулся рукой — жужжить! отмахнулся другой — жужжить! Со страху съ дерева скатился, да бухъ въ кустъ. Пуля его хлопъ по лбу! Онъ цапъ рукой: анъ это жукъ!

— Ишь ты! — говорить простофиля: — кто тебя разберетъ: по-бычьему мычишь, по-медвѣжьему рычишь. Ну, теперь ужъ никого не утрашусь: хоть заправскій медвѣдь явился предо мной, какъ листъ передъ травой.

А медвѣдь, какъ на заказъ, ужъ тутъ какъ тутъ, изъ лѣсу шастъ, валить прямо на встрѣчу.

Снялъ шапку простофиля, поклонъ отвѣсилъ:

— Здравія желаемъ, Михайло Потопычъ господинъ Таптыгинъ! Что ваша благовѣрная Матрена Михайловна? Все въ добромъ-ли здоровьи дорогія дѣтки?

Медвѣдь зарычалъ, на заднія лапы поднялся.

— Благодарю покорно! — сказалъ въ отвѣтъ простофиля: — ничего, живемъ, хлѣбъ-соль жуемъ. Милости прошу къ нашему шалашу: пироговъ накрошу, откусать попрошу.

Медвѣдь подошелъ, да крѣпко его облачилъ.

— Ты, братъ, полегче! — сказалъ простофиля. — Вѣрю, вѣрю, что любишь; давно не видались.

Медвѣдь сталъ его валить на земь, повалилъ, да такъ

помялъ, что у него и ребра захрустѣли. Видитъ простофиля, что шутки плохи, кликнулъ брата:

— Ау, братъ!

Тотъ проснулся:

— Чего тебѣ?

— Медвѣдя поймалъ!

— Такъ веди его сюда.

— Да нейдетъ!

— Такъ самъ иди.

— Да не пускаетъ!

Подскочилъ братъ, смотреть: простофиля подъ звѣремъ еле уже духъ переводить. Схватилъ вилы, порѣшилъ медвѣдя. Выдѣлъ простофиля на волю, вздохнулъ свободно:

— Прямой медвѣдь, право! обращенія не знаетъ. Повеземъ-ка его домой, въ деревню; можетъ, тамъ хоть поучится.

Навалили медвѣдя на телѣгу, повеали; везуть по деревнѣ. Сосѣди идутъ, дивуются:

— Что это вы везете?

— Сѣно, — отвѣчаетъ простофиля.

— Какое сѣно? вѣдь, это медвѣдь!

— А коли видите, такъ чего спрашиваете?

Привезли медвѣдя домой, содрали шкуру долой, вывѣсили на солнце сушить... Когда высохнетъ, тогда и доскажу.







## ЖУЧОКЪ-ЗНАХАРЬ.

—  
илъ въ деревнѣ бѣднякъ-  
мужичокъ,  
Мужичокъ по прозванью  
Жучокъ.

За какое ни примется дѣло —  
Глядь, ужь прахомъ пошло, прогорѣло.  
Вотъ послѣдній доѣлъ каравай, —  
Хоть на лавку ложись, помирай!  
А Жучку помирать не охота;  
И надумать неладное что-то.

Въ полночь, гдѣ ужь и спать бы пора,  
Онъ украдкой пшмыгнулъ со двора;  
Сквозь лазейку, что вырыли дѣти,  
У сосѣдки-старухи изъ клѣти  
Весь запасъ полотна утащилъ  
И въ стогъ сѣна за клѣтью зарылъ.

Обратился, зная, по-просту въ вора?  
Погодите, узнаете скоро.

\* \* \*

Баба въ клѣтъ лишь толкнулась со сна,  
Хватъ-похватъ — не видать полотна.

„Обокрали,“ завывла, „до нитки!“

А Жучокъ ужъ глядитъ изъ кабинки:

„Полотно утащили никакъ?“

— „Полотно. Да ты свѣдать-то какъ?“

— „А, вѣдь, дѣдъ мой былъ знахаремъ: внуку  
Завѣщать предъ концомъ всю науку.

Что гдѣ спрятано—въ мигъ угляжу,

И твое полотно укажу,

Будто знаюсь съ нечистою силой.“

— „Угажи, угажи-же мой милый!“

— „А что дашь-то?“

— „Муки тебѣ дамъ.“

— Куль муки?“

— „Ну, хоть куль.“

— „По рукамъ.“—

Взявъ ведро у ней, на воду дунуль,

Пошенталь что-то, трижды отплюнуль,

Подмигнуль и присвистнуль:

„Эге!

У тебя-жъ и зарыто въ стогѣ.“

Баба къ сѣну—отрыла пропажу.

„Вотъ такъ знахарь! чѣмъ хочешь уважу:

Сверхъ кули, еще на отъ руки.“

И, отмѣривъ съ подходцемъ муки,

Поплелася къ кумѣ поскорѣе,

Разсказать о Жучкѣ-чудодѣѣ.

Не прошло и двухъ дней, какъ объ немъ

Затрубили въ уѣздѣ кругомъ.

\* \* \*

Лучшій конь пронадеетъ съ усадьбы

У боярина. Какъ розыскать бы?

„А Жучка-чудодѣя позвать!“

Погадать-погадать онъ опять:

„Увести, моль, коня не успѣли:  
Привязали за рощею къ ели.“

Привязаль-то, небось, его самъ;  
Ну, вѣстимо, нашли его тамъ.  
А бояринъ, на зависть дворовыхъ,  
Выдалъ знахарю десять цѣлковыхъ.  
Туть онъ въ пущую славу вошелъ:  
Слухъ объ немъ до столицы дошелъ.

Той порой у царя у Гороха  
Шла возня во дворцѣ, суматоха:  
У него, изъ уборной дворца,  
Лучшій камень пропалъ изъ вѣнца,  
Самоцвѣтный ли камень, чудесный,  
Краше радуги въ тверди небесной,  
Отъ котораго въ темной ночи  
За семь версть исходили лучи.

Отрядили къ Жучку колесницу,  
Повезли раба Божья въ столицу.



„Вотъ когда мнѣ пришелъ карачунъ!“  
Убивался дорогою кодуунъ:  
„По-дѣломъ, значить, вору и мука;  
Не спасетъ никакая наука!“  
И, дрожа, онъ предсталъ предъ царя,  
Потихоньку молитву творя.



„Такъ и такъ,“ говоритъ тотъ со вздохомъ:

„Хоть меня и прозвали Горохомъ,  
А таки-огорошили разъ.

На тебя вся надежда у насъ.

Чтобы все приготовить къ уроку,

Я до завтра даю тебѣ сроку;

Есть и келья у насъ для тебя,

Гдѣ ты можешь гадать про себя.

Коли камень представишь обратно,

Награжу, говорю, тебя знатно;

Коли нѣтъ—не могу уберечь:

Вотъ мой мечъ—голова твоя съ плечь!“

Въ своей кельѣ сидитъ, чуть не плача,  
Бѣдный знахарь нашъ:

„Вотъ такъ задача!

Только три проноютъ пѣтуха,

Убѣгу,—говорить,—отъ грѣха.“

А украли-то камень въ уборной

Спальникъ, стольникъ и кравчій придворный;

Передъ кельей сошлись въ уголку

И ведутъ разговоръ о Жучкѣ:

„Если точно такой онъ ужъ знахарь,

Такъ его, какъ ни масли, ни сахаръ,

На кривой не объѣдешь кругомъ.

Не пойти-ль, повиниться во всемъ?“

— „Повиниться всегда еще можно,“

Молвилъ спальникъ; „а я осторожно

Подгляжу, какъ гадаетъ онъ тамъ.“

И онъ тихо подкрался къ дверямъ.

Въ это время пѣтухъ среди ночи

Прокричалъ въ первый разъ что есть мочи,

А изъ кельи послышался вздохъ:

„Слава Богу! одинъ есть изъ трехъ!“

Спальникъ бросился вонъ:

„Ну, ребята,  
 Въ мигъ пронюхаль онъ нашего брата!  
 —Одинъ есть, говоритъ, ужь изъ трехъ.—  
 Чтобъ онъ лопнулъ! (прости меня Богъ...)“  
 —„А ты струсилъ, небось, ужь, какъ школьникъ?“  
 Подтрунилъ надъ товарищемъ стольникъ:  
 „Я пойду, такъ ужь тяги не дамъ.“  
 И онъ тоже подкрался къ дверямъ.  
 Снова крикъ пѣтушинный раздался,  
 А изъ кельи колдунъ отозвался:  
 „Слава Богу! и два уже есть...“  
 Стольникъ духа не смѣлъ перевести,  
 Тихомолкомъ отползъ безъ оглядки:  
 „И меня онъ прочулъ, ребятки!  
 Говорить, что и два уже есть.  
 Еле ноги успѣлъ я унести.“  
 —„А храбрець!“ молвилъ кравчій тутъ: „Ну-ка,  
 Теперь самъ я его подгляжу-ка.“  
 Подошелъ, наострилъ только слухъ—  
 Загорланилъ и третій пѣтухъ;  
 А за дверью колдунъ:  
 „Слава Богу!  
 Есть и третій...“



Но только къ порогу,  
Какъ въ ногахъ его крапчій лежитъ:

„Виноваты! не казни!“ говорить.

Увидали друзья, поспѣшили

Тоже рядомъ унасть, завопили:

„Не казни! отпусти ужь грѣшны!“

— „А гдѣ камень?“ спросить ихъ Жучокъ.

— „Вотъ онъ, батюшка!“

Знахарь ихъ строго

Оглядѣлъ:

„Не боятесь вы Бога!

Ну, да такъ ужь прощу васъ пока.

Доставайте-ка мнѣ индюка.“



Принесли индюка—заглядѣнье!

А голдунъ нашъ, ему въ угощенье,

Изъ-за пазухи хлѣба достать,

Съ хлѣбомъ камешекъ въ шарикъ скаталъ.

„Вотъ покушай; да чуръ, не давиться!“

Какъ накинется жадная птица,

Не шутя поперхнулась слегка;

Да спасибо, гортань широка—

Проскользнула въ нее шарикъ до нутра.

Но что ждало бѣднягу на утро!..



Только всталъ царь Горохъ ото сна,  
Приказалъ привести колдуна:

„Что, любезный, развѣдать-ли вора?“

— „Дѣ, развѣдать другимъ-бы не скоро:

Вонъ индюкъ на дворѣ, горлодеръ,

Онъ, обжора, и будетъ твой воръ.“

— „Проглотить?“

— „Проглотить на здоровье.“

— „Погоди-жь ты, огроде бѣсовые!

Принести индюка мнѣ, да ножъ!“

Распоролъ ему брюхо. И что-жь?

Первымъ дѣломъ оттуда привѣтно

Ему камень блеснулъ самоцвѣтный.

Царь отъ радости вскрикнулъ:

„Ура!

Выдать молодцу пудъ серебра!“

Низко знахаръ царю поклонился,

Съ серебромъ во-своихъ пустился,

Прицѣвляючи зажилъ опять,—

Но закалялся вѣкъ колдовать.



ПЕРЕСКАЗЫ  
ИНОСТРАННЫХЪ СКАЗОКЪ.







## ПРЕКРАСНАЯ МЕЛУЗИНА.



ь сѣдую старину, говорятъ, жило подѣ землею племя карликовъ. Гнѣздилося оно въ ходахъ и расщелинахъ земли, гдѣ растутъ золото, серебро и всякіе драгоцѣнные камни. Такого работающаго, прилежнаго народца надѣ землею никогда не бывало: и день, и ночь, не покладывая рукъ, выковывали они изъ благородныхъ металловъ удивительнѣйшія ювелирныя вещицы: мечи, которые сами преслѣдовали врага; тончайшія цѣпи, которыя вязали крѣпче желѣзныхъ оковъ; непроницаемыя щиты; а также всевозможныя драгоцѣнные уборы.

Самый великолѣпный изъ подземныхъ гротовъ занимать царь карловъ, столь-же могущественный, какъ и мудрый. Однажды они съ царицею разсуждали о томъ, не пора-ли имъ прискаты для старшей ихъ дочери, прекрасной принцессы Мелузины, достойнаго жениха. Какъ вдругъ по окружающимъ корридорамъ поднялся неслыханный гвалтъ: жалкіе крики и вопли. Царь съ царицею опрометью выбѣжали на лѣстницу узнать о причинѣ. Къ великому испугу ихъ оказалось, что младшаго крошку-принца кормилица выронила

нѣ пеленокъ, и какъ ни искала — не могла найти. Царьца ломала руки; но, не потерявшись, какъ мамки да няньки, сама принялась искать его и, о, счастье! зоркому глазу матери удалось высмотрѣть малютку въ щели пола, между мелкими песчинками.

Такъ все на сей разъ обошлось благополучно. Но царь-отца настоящій случай повергъ въ глубокое раздумье, потому что теперь только понялъ онъ, какъ крохотно-малы его дѣти. Онъ не могъ скрыть отъ себя, что царскій родъ его съ каждымъ поколѣніемъ все мельчаетъ, ибо самъ онъ былъ куда меньше своего карлика-отца, а каковы были его дѣти — наглядно показалъ ему случай съ принцемъ. Если будетъ продолжаться такъ, то будущихъ внуковъ его пожалуй нельзя будетъ даже разглядѣть простымъ глазомъ, а ужъ это было-бы такое несчастіе для всего царства, что не приведи Господи!

Послѣ долгаго размышленія, царь-карликъ рѣшился созвать генеральный совѣтъ изъ знаменитѣйшихъ мудрецовъ своего малорослаго народа. Собрались они и приняли очень глубокомысленный, озабоченный видъ; кончили-же тѣмъ, что всѣ помотали головой и объявили, что имъ неизвѣстно такого средства, отъ котораго могли-бы вырасти царскія дѣти. Тогда поднявъ свою убѣленную, какъ лунь, голову древнѣйшій изъ всѣхъ, одинъ непроронившій до сихъ поръ ни слова; ему было уже нѣсколько сотъ лѣтъ и онъ не могъ сдѣлать ни шагу безъ чужой помощи, но мудростью своею прославился по цѣлому царству.

— Великій государь! — началъ старецъ. — Точно, нѣтъ средства, чтобы прибавить росту твоимъ царскимъ дѣтямъ; но есть средство, чтобы у нашей принцессы Медузины, когда она выйдетъ замужъ, дѣти вышли покрупнѣе. Только будетъ-ли тебѣ пригодно средство? Тебѣ пришлось-бы на долго, быть можетъ, на очень долго разстаться съ принцессой и дозволить, чтобы она жила между людьми.



— Не было печали...—глубоко вздохнул царь.—Люди—народъ коварный и злой; неужели пустить мнѣ къ нимъ мою дорогую Мелузину? Но—благо страны моей мнѣ выше всего; быть по сему! я готовъ принять твое средство, мудрый Бурбуци!

— Такъ слушай-же! — возгласилъ торжественно Бурбуци.—Ты помнишь, конечно, громадный золотой перстень, что хранится въ твоей царской сокровищницѣ? Онъ обладаетъ особою таинственною силою, которая мнѣ одному известна. Прикажи-же твоимъ первѣйшимъ строителямъ соорудить у наружнаго входа въ наше царство роскошный дворецъ, а затѣмъ вынести туда и волшебное кольцо.

По приказанію царя, четыреста искуснѣйшихъ карликовъ принялись за постройку новаго дворца, и въ три дня, три ночи возвели такое дивное зданіе, какого не бывало, да и не будетъ. Вся боевая армія подземныхъ карпузовъ, въ парадныхъ мундирахъ, была разставлена на заднемъ планѣ; самый-же блестящій гвардейскій полкъ, выстроившись по бокамъ подземной лѣстницы вплоть до выхода на земную поверхность, образовалъ живую уличу, по которой двадцать четыре жреца, пыхтя, пронесли изъ сокровищницы на носилкахъ волшебный золотой перстень. Послѣ обычныхъ обрядностей, старшій жрецъ благословилъ принцессу; затѣмъ она приблизилась къ своимъ родителямъ, чтобы проститься съ ними. Со слезами обнялись они и поцѣловались; тогда, по требованію мудраго старца, Мелузина выступила впередъ и приложила свою крохотную ручку къ громадному золотому кольцу. Въ тотъ-же мигъ она стала расти и росла-росла все выше да выше на глазахъ удивленной, испуганной толпы. Сначала она выросла въ новорожденнаго человѣческаго младенца, но потомъ, вытягивался все больше, обратилась въ высокую чудную красавицу.

Въ послѣдній разъ кивнула она своимъ родителямъ и надѣла перстень на безымянный палецъ правой руки: онъ



пришелся ей какъ разъ по пальцу. Въ то-же время захлопнулись сами собою окна, двери и ворота вновь выстроеннаго, маленькаго дворца, боковые флигеля вдвинулись въ главный фасадъ, и весь дворецъ принялъ видъ четырехугольной шкатулки.



Мелузина взяла шкатулку подъ мышку и пошла впередъ, куда глаза глядятъ, не оглядываясь уже ни на родителей, ни на всю собравшуюся толпу, такъ какъ это строго запретилъ ей мудрый Бурбуци.

Когда она выбрадась изъ горнаго ущелья, передъ ней раскрылась пѣвѣющая долина, и вся грусть отъ разлуки съ родными, весь страхъ передъ тѣмъ, что ожидаетъ ее впереди, исчезли при видѣ этого новаго чудеснаго міра. Да и сама-то она теперь какая большая и сильная! Бывало, когда ей прежде доводилось выглянуть на свѣтъ Божій, то полевые травы и злаки были куда выше ея, и муравьи казались ей страшилищами, предъ которыми ей становилось жутко. Правда, она была еще карлицею передъ деревьями и горами, рѣками и полями, но вообще она все-же чувствовала себя могучей великаншей.

Нагулявшись такъ часъ-другой по горахъ и доламъ, Мелузина утомилась. Она присѣла на большой гранитный обломокъ около дороги и тихонько зякнула золотымъ перстнемъ о лежащій тутъ-же булыжникъ. Какъ по волшебному мановенію, изъ всѣхъ трещинъ и расщелинъ земли повылѣзли карлики, которые, узнавъ, чего надо принцессѣ, со всѣхъ ногъ бросились вонъ и духомъ вернулись съ прекрасной двумѣстной каретой. Запряжена была она четверкой ретивыхъ бѣлыхъ коней, которыхъ едва могъ сдержать сидѣвшій на козлахъ статный возница. Мелузина сѣла въ карету, поставила шкатулку бережно противъ себя и приказала возницѣ ѣхать прямо въ городъ, башни котораго виднѣлись въ дали.

Не успѣла опомниться Мелузина, какъ они уже въѣзжали въ городъ; на громадныхъ людскія жилища и храмы, на неумолчную городскую толпотню у нея глаза разбѣгались. Вдругъ, проѣзжая мимо великолѣпной лѣстницы, она увидѣла въ окнѣ красиваго молодаго человѣка съ большими голубыми глазами. Глаза ихъ встрѣтились, и точно тайный голосъ шепнулъ Мелузинѣ на ухо: „Это твой будущій мужъ!“ Сердце у нея такъ и замерло въ груди, и она невольно крикнула кучеру:

— Стой!



Тотъ съ трудомъ остановилъ разгорченныхъ коней. Только-что Мелузина собиралась выйти изъ кареты, какъ молодой человекъ съ голубыми глазами уже выбѣжалъ на встрѣчу и услужливо раскрылъ двери. Высадивъ Мелузину, онъ вѣжливо осведомился, не можетъ-ли чѣмъ услужить ей?

— А вотъ шкатулка, — сказала она; —несите мнѣ ее наверхъ; но, пожалуйста, несите поосторожнѣе и, Бога ради, не растрасите.

Молодой человекъ съ любопытствомъ поднялъ довольно тяжеловѣсную шкатулку и съ крайнею осторожностью понесъ ее въ гостиницу, гдѣ и поставилъ на столъ въ гостиной. Мелузина не могла свести съ него глазъ, точно также какъ и онъ безпрерывно оглядывался на прекрасное, нѣсколько грустное личико молодой принцессы.

— Извините мою смѣлость, — заговорилъ онъ; — но лицо ваше мнѣ какъ-то родственно-знакомо, точно вы сестра мнѣ, ближе сестры...

Мелузина только тихо улыбнулась:

— Меня зовутъ принцессой Мелузиной; а вы не принцъ ли тоже?

— Принцъ.

Изъ дальнѣйшихъ разговоровъ оказалось, что и молодой принцъ, какъ наша принцесса, путешествуетъ для своего удовольствія и остановился проѣздомъ въ этой гостиницѣ. Въ короткое время молодые люди до того сошлись, что болтали весело и непринужденно, какъ-будто въ самомъ дѣлѣ были братомъ и сестрою. Они отобѣдали вмѣстѣ, а затѣмъ спустились въ цвѣтущій садъ гостиницы, гдѣ и гуляли до вечера.

— До свиданья! — сказалъ при прощаньи принцъ.

— Нѣтъ, мы здѣсь уже не свидимся... — задумчиво отвѣчала Мелузина.

— Какъ? почему? — встревожился принцъ.



— Быть может, гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, — сказала Мелузина, не отвѣчая на его вопросъ.

— Но гдѣ?

— Я вамъ назову городъ. Вы поѣзжайте туда теперь же; сама я останусь еще здѣсь.

— Но позвольте узнать, однако-же...

— Не спрашивайте. Если вы, принцъ, хотите сдѣлать мнѣ еще одно одолженіе...

— Приказывайте!

— То возьмите съ собой мою шкатулку. Но смотрите, остерегайтесь шевелить или тряссти ее. Когда вы прибудете на мѣсто, то поставьте ее на столъ въ отдѣльную комнату; сами вы не должны ни жить, ни спать въ этой комнатѣ, а замкнете ее вотъ этимъ ключемъ. Онъ имѣетъ свойство, что никто не можетъ раскрыть замкнутую имъ дверь. Обищаетесь-ли вы исполнить всѣ эти условія?

Принцъ съ удивленіемъ слушалъ принцессу. Хотя ему и въ голову не приходило, что эта высокая, статная красавица въ дѣйствительности крошечная карлица, но вся исторія съ шкатулкой и ключемъ показалась ему очень странной. Тѣмъ не менѣе онъ далъ слово въ точности выполнить ея порученія и, справившись еще о томъ, какимъ путемъ и куда ѣхать, пошелъ заказать лошадей. Подойдя затѣмъ къ комнатѣ Мелузины, чтобъ взять шкатулку и проститься съ принцессой, онъ нашелъ дверь замкнутой. Тутъ былъ случай испытать силу таинственнаго ключа: онъ вставилъ его въ замокъ—и дверь растворилась. Взявъ со стола шкатулку, онъ снесъ ее осторожно внизъ въ карету, и, унавь отъ прислуги, что принцесса вышла и велѣла кланяться, онъ не сталъ дожидаться и отправился въ путь.

Два дня пробылъ онъ въ дорогѣ. На третій день, прибывъ въ указанный ему городъ, онъ въ точности выполнилъ всѣ предписанія Мелузины и вышелъ затѣмъ

пройтись по улицамъ. Но ему вдругъ такъ взгрустнулось, что и глядѣть не хотѣлось на людей, и онъ тотчасъ-же вернулся назадъ. Какова-же была его радость, когда, войдя въ комнату, онъ засталъ уже тамъ Мелузину!

— Какъ это вы такъ скоро?... — были первыя слова его.

— А вы недовольны?—спросила она въ отвѣтъ и пригласила его вмѣстѣ прогуляться по городу.

Какъ занимательна показалась ему теперь прогулка по оживленнымъ улицамъ, въ обществѣ прелестной принцессы! Она дѣлала тысячу пресмѣшныхъ вопросовъ, точно впервые видя самыя обыкновенныя вещи (потому что и видѣла ихъ впервые!); и сама-же отвѣчала на нихъ — отвѣчала такъ догадливо-умно, что принцъ не могъ надвинуться, какъ столько остроумія можетъ заключаться въ такой крохотной головкѣ. (Какъ-бы онъ удивился, еслибы зналъ, какъ мала въ дѣйствительности ея головка!) Весь день они оставались вмѣстѣ; когда-же вечеромъ имъ пришлось опять разойтись, Мелузина, какъ и въ первый разъ, попросила его ѣхать далѣе въ другой городъ, и взять съ собой ея шкатулку.

— Да зачѣмъ-же это, скажите на милость?—воскликнулъ озадаченный принцъ.

— Не спрашивайте,—повторила Мелузина.—Если вы хотите меня еще видѣть, то не возражайте.

Принцъ покорился и пошелъ опять заказать лошадей. И теперь, при своемъ возвращеніи, онъ уже не засталъ Мелузину. Онъ покачалъ головой, но, помня ея наказъ, отперъ таинственнымъ ключомъ дверь въ ея комнату, взялъ шкатулку и собрался опять въ дорогу.

Цѣлую ночь и весь слѣдующій день онъ почти не смыкалъ глазъ: съ ума не сходила у него шкатулка, которая находилась въ какой-то таинственной связи съ загадочной принцессой. Но какъ ни оглядывалъ онъ шкатулку, какъ ни повертывалъ ее (конечно, съ предписанною



осторожностью), она ничѣмъ не отличалась отъ всякой другой нарядной шкатулки.

На вторую ночь утомленный принцъ только-что всталъ въ забытѣ, какъ карета въ темнотѣ наѣхала на большой камень, и сильный толчокъ разбудилъ принца. Съ удивленіемъ замѣтилъ онъ тутъ, что внутренность кареты освѣтилась; при ближайшемъ-же осмотрѣ онъ убѣдился, что лучъ свѣта исходить изъ щели въ столпцѣ на переднемъ сидѣніи шкатулкѣ: отъ сотрясенія кареты, должно быть, крышка шкатулки отщелкнулась. Притаивъ дыханье, принцъ заглянулъ въ маленькую щель внутрь шкатулки, и что-же тутъ увидѣлъ онъ! Онъ увидѣлъ ярко-освѣщенную множествомъ свѣчей, богато-убранную комнату, въ которой весело топился каминъ. Передъ каминомъ-же сидѣла съ книжкой въ рукахъ молодая красавица, и красавица эта была, ни дать, ни взять, принцесса Мелузина, только ростомъ не больше его мизинца!

— Мелузина, вы-ли это!—вскрикнулъ принцъ; но въ то-же мгновеніе свѣтъ уже погасъ, и въ каретѣ стало такъ-же непроглядно-темно, какъ и на дворѣ.

Принцу стало жутко, даже страшно: никакъ Мелузина его—волшебница? Добраться-бы только до мѣста, а тамъ—дай Богъ ноги, домой безъ оглядки!

Едва, однако-же, принцъ, прибылъ на мѣсто и снесъ шкатулку въ отдѣльную комнату, какъ оттуда вышла къ нему Мелузина, и принцъ, вмѣсто того, чтобы обратиться въ бѣгство, радостно бросился къ ней на встрѣчу. Но Мелузина сама отступила отъ него и промолвила съ глубокою грустью:

— Вы подглядѣли меня въ шкатулкѣ, принцъ, вы узнали мою тайну, и теперь все между нами кончено, мы должны разстаться на вѣки!

— Зачѣмъ-же разставаться?—воскликнулъ принцъ. —



Хотя вы и волшебница и можете принимать образ крошечной карлицы, но вы мнѣ оттого не менѣ дороги.

Мелузина покачала головой.

— Я не волшебница, — сказала она печально: — я, дѣйствительно, карлица, дочь подземнаго царя карловъ, и приняла человѣческой образъ только по желанію отца, чтобы найти себѣ мужа между людьми, такъ какъ родъ нашъ иначе совсѣмъ-бы измѣлялся. Мнѣ было дозволено самѣй избрать себѣ мужа, но подъ условіемъ, чтобы онъ меня также такъ полюбилъ, что охотнѣе-бы умеръ, чѣмъ разстался-бы со мною; сама-же я должна была дать обѣтъ тотчасъ его покинуть, какъ только онъ узнаетъ тайну моего происхожденія. Этого никогда-бы не случилось, еслибы я могла выдержать въ непривычномъ для меня, большомъ образѣ человѣка; но, къ несчастью, пробывъ день человѣкомъ, мнѣ нужно было два дня отдыха въ шкатулкѣ отъ чрезмѣрнаго напряженія, и такъ-то вы подглядѣли меня и, сами того не зная, разрушили наше счастье. Оставаться съ вами я могу только до возвращенія моего въ родительскій домъ, а возвратиться мнѣ надо теперь же!

Какъ ни просилъ, какъ ни умолялъ принцъ не покидать его, — все было напрасно; Мелузина оставалась непреклонна и почти насильно повлекла его къ поданной уже каретѣ. Безъ остановки покатили они теперь въ обратный путь, пока не вѣхали въ совершенно незнакомое принцу, дикое горное ущелье. Здѣсь Мелузина велѣла кучеру остановиться, вышла съ спутникомъ изъ кареты и попросила его взять шкатулку и слѣдовать за нею. Подойдя къ темной впадинѣ треснувшаго утеса, насквозь пронизаннаго жилами серебра, она обернулась и проговорила печально:

— Вотъ я и дома! Поставьте шкатулку на земь, дорогой принцъ, и — Господь съ вами! Дорогу назадъ вамъ найти не трудно. Благодарю васъ за всѣ хлопоты и желаю

вамъ всякаго благополучія. Еще разъ — прощайте и не поминайте лихомъ!

При этомъ Медузина взглянула на смущеннаго принца съ такою нѣжностью, съ такою скорбью, что разлука, ему казалась, убить его. Онъ залился слезами, бросился передъ нею на колѣни и сталъ жалобно молить ее:

— О, Медузина! да нельзя-ли хоть мнѣ-то идти съ вами, если уже вамъ нельзя остаться со мною? Я вѣдь готовъ на все—на все, чтобы вы ни потребовали, только не разлучайтесь со мною!

— Есть, правда, одно средство остаться намъ вмѣстѣ... — промолвила съ заиниею Медузина;—но у меня едва хватаетъ духу предложить вамъ его, такъ какъ знаю, какъ вы, люди, гордитесь вашимъ большимъ ростомъ. Еслибы вы, принцъ, рѣшились сдѣлаться также карликомъ, пожелауй нѣсколько больше насъ прочихъ, но все-же такимъ маленькимъ, чтобы жить въ нашихъ подземныхъ гротахъ, то я могла-бы взять васъ съ собою, какъ... какъ жениха своего...

Принцъ сперва былъ озадаченъ, услышавъ такое предложеніе; но желаніе остаться съ Медузиной взяло верхъ, онъ схватилъ протянутую къ нему ручку и воскликнулъ:

— Дѣлайте со мною, что хотите!

Медузина проворно сняла съ своей руки волшебный перстень и надѣла его на мизинецъ принцу. Принцъ ощутилъ сильную боль въ мизинцѣ и вскрикнулъ, потому что кольцо жало его страшно. Вдругъ онъ увидѣлъ себя въ высокой травѣ рядомъ съ Медузиной, которая, не длиннѣе мизинца, какъ въ шкатулкѣ, стояла около него, самъ же онъ, хотя многимъ выше ея, былъ все-таки не длиннѣе ладони.

— Теперь постучи-ка кольцомъ въ шкатулку,—сказала Медузина.

Принцъ оглянулся: кольцо лежало тутъ-же въ травѣ,



но казалось теперь такъ велико, что онъ могъ-бы надѣть его себѣ на шею. Съ трудомъ притащилъ онъ его къ шкатулкѣ, возвышавшейся надъ ними четырехугольной громадой, и стукнулъ имъ въ ея стѣнку. Въ ту-же минуту съ шкатулкой произошло удивительное превращеніе: посыпались щепки, наружу выдвинулись два боковыхъ флигеля и передъ молодыми людьми предсталъ настоящій дворецъ, съ дверями, окнами, колоннами и проч.

Едва вошли они во дворецъ, и принцъ не успѣлъ еще издивиться его роскошной внутренней обстановкѣ, какъ съ улицы раздались звуки причудливаго марша. Радостно вскрикнувъ, Мелузина объявила своему жениху, что то приближается ея царственный родитель; и только вышли они на балконъ, какъ увидѣли выступавшую изъ подземной расщелины, блестящую процессію. Войско, царедворцы, рыцари слѣдовали другъ за другомъ; наконецъ показалось, въ штихъ, золотыхъ мундирахъ, множество высшихъ сановниковъ мелкаго подземнаго міра и, среди ихъ, самъ царь карловъ, отецъ Мелузины.

Мелузина схватила принца за руку и бросилась на встрѣчу къ отцу. Тотъ обнялъ дочь и милостиво поднялъ съ земли принца, преклонившаго предъ нимъ колѣно. Затѣмъ всѣ вмѣстѣ вошли во дворецъ, гдѣ старшій жрецъ карловъ торжественно и повѣнчалъ молодую парочку по древнему ихъ обряду. Празднество слѣдовало за празднествомъ, и я тамъ былъ, медъ-вино пить, все по усамъ текло, ничего въ ротъ не попало.

А принцъ не раскаялся, не соскучился у крошекъ-карловъ по прежней жизни съ большими людьми? Нѣтъ, онъ на то слишкомъ любилъ свою Мелузину; когда-же у нихъ родился еще маленькій хорошенькій принчикъ, то счастье его не знало предѣловъ. Малышка при самомъ рожденіи былъ уже ростомъ съ своего царственного дѣда, и, слѣдовательно, спокойствіе страны было обезпечено. Мудраго-же



Бурбуци царь не только увѣсилъ почетною золотою цѣпью, длиною въ сто аршинъ и все-же на столько тонкою, что старецъ, при всей ея длинѣ, могъ носить ее на шеѣ, но назначилъ его и воспріемникомъ отъ купели своего большаго внука.



## ЗАБЫТАЯ МОГИЛА.



В самомъ углу кладбища была забытая могила. Только трава росла на ней да, совсѣмъ притаясь въ травѣ, цвѣли два-три дикихъ бѣленькихъ и голубевькихъ цвѣточка, которыхъ никто не садилъ. Дѣловъ томъ, что въ могилѣ этой лежалъ старый холостякъ, неоставившій послѣ себя ни жены, ни дѣтей, никого другого, кому было-бы дѣло до него. Но двое маленькихъ дѣтей могильщика особенно любили старую забытую могилку; имъ позволяли играть на ней и притаять сколько угодно, тогда какъ другихъ могилъ, которая содержались въ порядкѣ и украшались цвѣтами, они не смѣли трогать.

— Катя, — сказала мальчуганъ, стоя на козлянкахъ передъ забытой могилой и съ самодовольствомъ осматривая ямку, которую своими маленькими ручёнками разгребъ въ боковомъ ея скатѣ: — Батя, полюбуйся-ка: каковъ домъ-то у меня, а? Я выложилъ его, видишь, пестрыми камешками и устлалъ еще ковромъ изъ цвѣтовъ. Я буду напой, а ты мамой. Здравствуй, мама! что наши дѣтки?

— Ваня, — сказала дѣвочка, — ты ужасно всегда сиѣшишь. У меня нѣтъ еще дѣтокъ, но я сейчасъ ихъ достану.

Она бросилась между могилъ и вустовъ и вскорѣ вернулась назадъ съ полными руками улитокъ:

— Ну, вотъ, папа, у меня уже семь дѣтокъ, семь прехорошенькихъ улитокъ!

— Такъ уложимъ - же ихъ сейчасъ спать, потому что ужь поздно.

И, нарвавъ зеленыхъ листьевъ, они выложили ими ямку, разложили на нихъ пестрыя раковинки улитокъ и накрыли еще каждую раковинку зеленымъ листикомъ.

— Теперь не шуми, Ванюша, — наставительно сказала дѣвочка: — мнѣ надо убаюкать дѣтокъ; это ужь мое дѣло; отецъ никогда не баюкаетъ вмѣстѣ. Ты можешь идти пока на работу.

Ванюша убѣжалъ вонъ, а Катя зашѣла тоненькимъ голоскомъ:

— „Баю, баюшки-баю,  
Баю, миленькія крошки!  
Спрячьте ручки, спрячьте ножки,  
Чтобы васъ не съѣли кошки.  
Я вамъ пѣсеньку спою:  
Баю, баюшки-баю!“

Но тутъ одинъ листочикъ зашевелился, и находившаяся подъ нимъ улитка высунула свою голову съ тонкими рожками. Дѣвочка пальчикомъ ткнула ее въ голову и сказала:

— Полно тебѣ, Машка! угомону на тебя пѣть! Ужь поутру не давала чесать себя. Сейчасъ засни! Слышишь? — И она опять зашѣла:

— „Баю, баюшки-баю,  
Баю, Машеньку мою.  
Только чуръ — съ-подъ одѣяльца  
Не высовывать и пальца!  
Всѣмъ вамъ пѣсеньку спою,  
Всѣ заснете, какъ въ раю.“



Прилетитъ къ вамъ ангелъ Божій,  
 Златокрылый и пригожій,  
 Всѣмъ по сайкѣ принесетъ,  
 По конфеткѣ сунетъ въ ротъ,  
 Будетъ спать вамъ сладко, сладко!  
 Не заснете—для порядка  
 Кологусекъ надаю...  
 Баю, баюшки-баю!\*

Когда она кончила пѣть, всѣ семь улитокъ, въ самомъ дѣлѣ, заснули или, по крайней мѣрѣ, перестали шевелиться; а какъ Ваня все еще не возвращался, то малютка еще разъ обѣжала кладбище, чтобы поискать новыхъ улитокъ. Она набрала ихъ полный передникъ и вернулась опять къ могилкѣ. Ваня былъ уже тамъ и ждалъ ее.

— Панаша!—закричала дѣвочка:—я достала еще сто штукъ дѣтей!

— Ну, нѣтъ, жена,—сказала мальчуганъ:—это уже черезчуръ много. У насъ всего-то одна игрушечная тарелка, да двѣ игрушечныхъ вилки. На чемъ-же будутъ ѣсть дѣти? Да ста дѣтей и не бываетъ ни у кого. Да нѣтъ и ста именъ. Какъ намъ окрестить такую кучу? Неса-ка ихъ опять прочь!

— Ахъ, нѣтъ, Ванюша!—умоляла дѣвочка;—ужь коли Богъ намъ далъ ихъ, такъ какъ-же бросать ихъ? Мнѣ всѣ они одинаково милы.

Тутъ подошла молодая жена могильщика съ двумя большими ломтями хлѣба съ масломъ, потому что настало время ужина. Она поцѣловала обоихъ ребятъ, подняла каждого, посадила на могилку и сказала:

— Смотрите только, чтобы не вымазаться.

И вотъ, они сидѣли молча, какъ двѣ курочки, и кушали смачно.

А старый холостякъ въ своей одинокой могилѣ все слышалъ: мертвые слышать все очень внятно, что говорится надъ ихъ могилами.

И вспомнилъ онъ то время, когда самъ былъ маленькимъ мальчикомъ. Тогда онъ зналъ также малютку-дѣвочку, и они играли вмѣстѣ, строили домъ и были мужъ съ женою. Потомъ ему припомнилось другое время, когда онъ еще разъ увидѣлъ эту малютку, но уже взрослою. Послѣ того онъ никогда ничего не слышалъ объ ней, такъ какъ пошелъ своимъ путемъ, и путь этотъ, должно быть, былъ не очень-то гладокъ, потому что чѣмъ дальше онъ думалъ и чѣмъ дальше на могилѣ его болтали дѣти, тѣмъ все тяжеле становилось у него на душѣ. Онъ заплакалъ и не могъ уже перестать. Когда-же жена могильщика усадила дѣтей на его могилу, и какъ разъ на его грудь, слезамъ его не стало уже удержку. Ему такъ вотъ и хотѣлось протянуть руки, чтобы прижать дѣтей къ груди. Но онъ не могъ этого сдѣлать: на немъ лежала цѣла сажень земли, а сажень земли вѣсить много, очень много. Тогда онъ заплакалъ еще пуще, и все продолжалъ плакать, когда жена могильщика давно увела уже вонъ дѣтей и уложила спать.

Когда-же на другое утро могильщикъ проходилъ кладбищемъ, то въ старой, забытой могилы билъ ключъ. То были слезы, которыми плакалъ старый холостякъ. Свѣтло струился ключъ изъ-подъ могильнаго кургана и выходилъ какъ разъ изъ ямы, вырытой дѣтьми для своего маленькаго домика. Могильщикъ былъ очень доволенъ, что воду для полива цвѣтовъ на могилахъ не нужно будетъ ему теперь тащить вверхъ гору изъ деревни. Онъ устроилъ для ключа правильное русло и огородилъ его большими камнями. Съ тѣхъ поръ водою изъ новаго ключа поливалъ онъ всѣ могилы на кладбищѣ, и цвѣты на нихъ цвѣли лучше, чѣмъ когда-либо прежде. Только могилку, гдѣ лежалъ самъ старый холостякъ, не поливалъ онъ, потому что то была

старая, забытая могила, о которой никто не справлялся. Тѣмъ не менѣ дикіе горилы цвѣты росли на ней вышише, чѣмъ гдѣ-либо, и дѣти могильщика охотише всего сидѣли у ключа, строили мельницы и пускали плавать по водѣ бумажные кораблики.





## СНѢЖНЫЙ БОЛВАНЪ.



Въ ясный, морозный зимній день мальчики соорудили въ саду большаго снѣжнаго болвана. Вотъ такъ былъ болванъ! Въ бѣлой шапкѣ да съ еловой вѣткою въ рукѣ, съ красными кирпичными щеками и съ однимъ чернымъ угольнымъ глазомъ по срединѣ лба! Всякій день дѣти обливали его водою, и все тѣло его стало твердымъ и гладкимъ на заглядѣнье! Шапка изъ ледяныхъ сосулекъ блестѣла на солнцѣ короной изъ чистыхъ алмазовъ, вѣтка покрылась инеемъ и сверкала, какъ волшебный жезлъ,

лрче серебра, а огромный черный глаз такъ и выкатывался изъ бѣлаго лба, точно всякаго проглотить хотѣлъ.

— Ура, людоеды! — крикнулъ старшій мальчикъ, и всѣ мальчики замахали шапками и грянули хоромъ:— ура!

Снѣжный болванъ, въ первый разъ видѣвшій свой блестящій нарядъ, въ первый разъ слышавшій, что онъ — грозный людоеды, сильно зазнался и даже запряхтѣлъ отъ самодовольства. Дѣти воображали, что онъ распадется, и громко вскрикнули; но его затрясло только отъ чрезмѣрной гордости. Забылъ онъ, наволните видѣть, что два дня назадъ былъ просто-на-просто снѣгомъ, изъ котораго уже дѣтскія руки скатали болвана. Но таковы уже гордецы! Съ презрѣнiемъ косился онъ на мелкiя деревья, что стояли около и едва приходились ему по плечо.

Ночью задуть рѣзкой сѣверный вѣтеръ и стали гнуть тонкiя дерева почти до земли. Полными щекami дулъ онъ и на снѣжнаго болвана; но тотъ стоялъ непоколебимо-твердо, подставляя ему панциремъ свою широкую ледную грудь. Наконецъ вѣтеръ зашхался и присмирѣлъ. На небѣ изъ-за тумана проглянули звѣзды, серебристый мѣсяцъ заглянулъ внизъ, въ садъ, и могучiй образъ исполина-людоеда засвѣтился далеко вокругъ. А на другое утро взошло опять солнце и обладало его своимъ румянымъ, золотистымъ огнемъ.

„Ага!“ подумалъ тутъ снѣжный великанъ въ своей гордости: „ай-да я! Мѣсяцъ и солнце завскиваютъ у меня, зангиваютъ со мною! Зато-же я и людоеды! Что передо мною всѣ эти голыя деревья, эта плычья мелюзга, эти злѣкiе люди? Я не аябу, не умираю,—я вѣченъ, потому что отъ чего-же мнѣ и умереть?“

Но, странное дѣло! Дѣти хотя и продолжали величать его людоедомъ, но уже со смѣхомъ, какъ-бы въ шутку, а когда солнце почему-то стало грѣть сильнее,—и совсѣмъ объ немъ забыли. Какъ-то разъ только, мимоходомъ, они



назвали его, но уже не людоѣдомъ, а просто снѣжнымъ болваномъ. Неужели это тѣ самыя дѣти, что кричали ему „ура!“ и махали ему шапками? Или-же онъ самъ измѣнился? Они говорятъ межъ собой о какой-то веснѣ, о цвѣтахъ; онъ не знаетъ, что это такое; но его невольно ужъ коробить; онъ даже посѣрѣлъ отъ злости и досады.

Чѣмъ дальше, тѣмъ все тоскливѣй становится у него на душѣ. Что-же это такое, въ самомъ дѣлѣ? Уже нѣсколько дней, какъ около него слышится какая-то новая, затаенная жизнь,—откуда, почему? никакъ онъ въ толкъ не возьметъ. Молодые деревца дрожать—но не отъ мороза, а, какъ видно, отъ радости и нѣги. Изъ-подъ земли высунулись какія-то дерякія зелененькія травки, и самому людоѣду дѣлается кашъ-то не по-себѣ.

— Солнце, однако, пренесносно!—вадыхаетъ онъ про себя,—но оно вѣдь меня такъ любитъ!

И ему становится такъ жутко, такъ жутко, что слезы капаютъ по его щекамъ. Снаружи точитъ его солнце, а внутри жгучая скорбь!

А вотъ примчалась крошка-пташка съ длиннымъ стрѣльчатымъ хвостомъ, щебеча закружилась надъ крышей дома и юркнула въ маленькую дырочку надъ окномъ.

— Первая ласточка прилетѣла!—кричать дѣти:—значитъ, конецъ зимѣ, весна близко!

— Конецъ зимѣ? весна близко? — брехать про себя старый снѣжный болванъ:—да какъ же зимѣ можетъ быть конецъ? что это за весна? Вадоръ болтаютъ глухыя дѣти!

Но чѣмъ дальше, тѣмъ все горше приходится болвану. Подъ ногами его словно вся земля заходила, снѣгъ таетъ-таетъ, а вмѣсто снѣга, по всѣмъ сторонамъ бѣжитъ вода, бѣжитъ съ такимъ шаловливымъ плескомъ, будто подразниваетъ старика. Онъ сердито отворачивается, чтобы только не слышать что она плещетъ. А въ полночь, когда все заснуло крѣпкимъ сномъ, и теплый вѣтерокъ развѣять



легкія тучки съ яснаго мѣсяца, у самыхъ ногъ людоѣда что-то колокольчикомъ зазвенѣло. Смотритъ людоѣда: выглянулъ изъ земли нѣжный голубоватый цвѣточекъ и, колыхаясь колокольчатой головкой, внятно расцвѣтаетъ:

— Еще въ поляхъ бѣлѣть снѣгъ,  
А воды ужъ весной шумять,  
Бѣгутъ и будятъ сонный берегъ,  
Бѣгутъ и плещутъ и гласятъ—

Онѣ гласятъ во все концы:  
„Весна идетъ, весна идетъ!  
Мы молодой весны гонцы,  
Она насъ послала впередъ!“

Весна идетъ, весна идетъ!  
И тихихъ, теплыхъ майскихъ дней  
Румяный, свѣтлый хороводъ  
Толкнется весело за ней... \*)

— Это еще что за выскочка? — бормоталъ снѣжный болванъ.

— Это первый цвѣтокъ,— отвѣчала ласточка, высунувшая также при нѣжн цвѣткѣ изъ гнѣзда голову и поделушавшая старика:

— Голубенькій, чистый  
Подснѣжникъ-цвѣтокъ!  
А полѣ сквозистый  
Последній снѣжокъ...

Последнія слезы  
О горѣ быломъ,  
И первая греза  
О счастьѣ иномъ... \*\*)

\*) Стихи Тютчева.

\*\*) Стихи Майкова.

У старика снѣжнаго болвана такъ больно заняло сердце, что онъ радъ былъ втоптать цвѣточекъ опять въ землю, откуда тотъ вышелъ; но, ахъ! ему стало вдругъ такъ дурно, что онъ самъ чуть устоять на ногахъ.

Когда день затѣмъ солнце подыялось еще выше, онъ не былъ уже въ силахъ держать словую вѣтку, и волшебный жезлъ вывалъ у него изъ руки на грязную землю. Ослѣпленный солнечнымъ свѣтомъ, онъ закатался какъ пыльный, и слезы въ три ручья брызнули по его мертвенно-блѣдному лицу, съ котораго прекрасный кирпичный румянецъ давно уже слинялъ, а корона изъ ледяныхъ сосуллекъ почти вся растаяла подъ жгучими лучами весенняго дня. Былъ первый прелестный весенній день; земля жадно впитывала его яркій блескъ. Сочныя вѣтки согнали свѣжихъ глазъ выглянули на молодой свѣтъ Божій, и все кругомъ встрепенулось, зашумело, зацвѣло; а въ вышнихъ, въ небесной сини, закружились веселыя птички, пѣснями встрѣчая молодую весну! То былъ день новой жизни для всего живаго; для людоеда-же настала его смертная часъ.

Когда дѣти зашли въ садъ, онъ уже совсѣмъ на бокъ покосился.

— Подснѣжникъ! ай, подснѣжникъ!—кричалъ одинъ.

— А старый болванъ-то нашъ!—подхватилъ другой:—смотрите-ка, какъ онъ течетъ и реветъ, а самъ еле-еле держится. Что ему, бѣдняжкѣ, долго мучиться; давайте-ка, сразу его порѣшимъ.

Его толкнули, и хотя онъ когда-то протиснулся сѣверному вѣтру,—теперь онъ, какъ своя, повалился на пробивающуюся изъ-подъ снѣга молодую травку.

— Спи, спи, отдохни, утомишь тебя возьми!—захохотали шалуны и убѣжали вонъ.

Никто уже не заботился о немъ. Только старый воронъ, зашедшій на послѣобѣденной прогулкѣ съ задворка въ садъ, остановился передъ нимъ и прокартавилъ:

— А вотъ и онъ растянулся, вашъ толстый, глухой снѣжный болванъ! Держался онъ такъ гордо, точно простоять сто лѣтъ. А надолго-ли его хватило? И сколько этихъ самыхъ болвановъ выдалъ я на своемъ долгомъ вѣку!





## МАЛЬЧИКЪ-ЗАЙКА.



**Б**ылъ маленькій мальчикъ, у котораго, право, всего-то было вдоволь, и который все-же былъ всегда и всѣмъ недоволенъ. То было ему черезчуръ жарко, то слишкомъ холодно; никто ему ни въ чемъ не могъ угодить, да и самъ онъ часто не зналъ, чего ему нужно; зналъ только одно: что всѣмъ другимъ дѣтямъ и даже птицамъ и звѣрямъ въ лѣсу и въ полѣ лучше, чѣмъ ему. Какъ ни огорчались родители мальчика его вѣчными ворчаньемъ, но отучить его отъ того никакъ не могли.

Вотъ какъ-то разъ собрались они всей семьей въ имѣніе дяди, а имѣніе было славное, и было тамъ много чего, что могло бы позанять умнаго ребенка. Двоюродные братья и сестры рады были поиграть съ маленькимъ гостемъ; водили его по хлѣвамъ и конюшнямъ, по задворкамъ и огородамъ; но все было не по немъ, и на другой же день ему уже такъ надоѣло, что когда пошли опять погулять въ ржаное поле, онъ отсталъ отъ товарищей и забился въ рожь. Дѣти, довольные отдѣлаться отъ такого ворчуна, оставили его въ покоѣ и пошли своей дорогой.

Сидѣлъ онъ тамъ, сидѣлъ, надувшись, съ предлиннымъ лицомъ, точно его не-вѣсть какъ обидѣли, и думалъ про себя, какой-де онъ бѣдненькій и какіе они всѣ противные!

Тутъ что-то зашумѣло по ржи, раздвинулись голоса, и передъ нимъ, носомъ къ носу, очутился сѣрый заяцъ.



Удивился косою, увидѣвъ передъ собою маленькаго человѣчка, поиграть лапками, да вдругъ, какъ вскочигъ, повернется налѣво кругомъ—и былъ таковъ.

„Ѣкіе счастливыны — эти зайцы!“ подумалъ опять про себя съ досадою мальчикъ: „скачетъ, куда хочетъ; ништо слова не скажетъ. Господи ты Боже мой! хоть бы мнѣ сдѣлаться зайцемъ!“

Услышавъ, звать, Господь его мольбу. Въ тотъ-же мигъ мальчикъ нашъ сталъ съживаться всѣмъ тѣломъ, только глаза дѣлались все больше, круглѣе, да уши длиннѣе. Не прошло и минуты, какъ онъ былъ уже зайцемъ, настоящимъ сѣрымъ зайцемъ. Вотъ такъ обрадовался порчунишка! Онъ запрыгалъ взадъ и впередъ, большими скачками побѣжалъ по дорогѣ, присѣлъ на заднія лапки и заигралъ передними. Вблизи былъ огорокъ, засаженный капустою; какъ увидѣлъ зайца—такъ ѣсть захотѣлось, что и сказать нельзя; махнулъ онъ черезъ канаву въ огорокъ и принялся за первый гочанъ: сырая капуста показалась ему слаще парожнаго!



Тутъ изъ-за опушки показался охотникъ съ ружьемъ за плечами. Охотникъ этотъ былъ никто иной, какъ самъ хозяинъ имѣнія, дядя мальчика. Едва только замѣтилъ онъ въ бауцѣ порохатаго зайца, какъ сорвалъ съ плеча ружье, ввелъ курокъ, прицѣлился и—бацъ! выстрѣлить. Заяцъ попалъ въ ногу, и онъ раза три перекувырнулся. Но онъ былъ еще живъ и хотѣлъ только-что удрать, какъ вдругъ къ нему подбѣжалъ дядинъ охотничій песъ, хапнулъ его своими острыми зубами, прикусилъ до смерти и отнесъ къ своему господину.

Мальчугану нашему это показалось крайне обидно, потому что хотя заяцъ уже былъ мертвъ, но мальчикъ въ немъ былъ еще живехонекъ и знать все, что съ нимъ дѣлается. Дядя взялъ и положилъ его въ свой яхтантъ; мальчику куда какъ хотѣлось повѣдать ему свое горе, но такъ какъ онъ былъ зайцемъ, да притомъ же застрѣленнымъ, то не могъ и шикнуть!

Такъ понесъ его дядя домой, а тамъ сдать въ кухню. Бухарка схватила его своими толстыми, грубыми пальцами и содрала съ него его прекрасную блестящую шкуру, такъ что онъ остался совсѣмъ голенькимъ и ужасно застыдился. Затѣмъ она вынесла его за дверь и вывѣсила на гвоздь у входа.

Здѣсь проансѣлъ бѣдняга цѣлую ночь вапролетъ и имѣлъ время пораздумать о томъ, что мальчигомъ ему все-таки было лучше. Но этимъ далеко еще не окончилась его испытанія. На другой день опять захватили его толстые пальцы кухарки, поволокли назадъ въ кухню и разложили на кухонную доску.

„Что теперь-то со мною будетъ?“ въ ужасѣ подумалъ заяцъ.

А ожидало его, въ самомъ дѣлѣ, еще нѣчто худшее! Бухарка взяла длинную иглу, насадила на нее свиного сала и давай шитьвать имъ спину зайки—брр! какъ это было непріятно! Въ заключеніе же она продѣла въ него



сзади длинный-предлинный вертелъ,—это показалось ему всего обиднѣй!

Тогда она его завертѣла надъ большимъ огнемъ, и ему стало такъ жарко и дурно! Наконецъ положила его на блюдо, и лакей понесъ его въ столовую, гдѣ сидѣли уже за столомъ его дядя, и родители, и всѣ другія дѣти. Его мѣсто было незанято, и, видя это, онъ готовъ былъ заплакать—еслибъ только могъ.

— Какой славный зайцъ!—вскричали всѣ:—вотъ такъ будетъ вкусно!

„Да!“ печально подумалъ мальчикъ: „вы будете меня кушать, а я—я долженъ молчать!“

Тутъ дядя взялъ большущій ножъ, наточилъ его хорошенько, разломилъ имъ зайкѣ всѣ ребра, отрѣзалъ ему обѣ ноги и раскрошилъ его на небольшіе куски. Всѣ взяли себѣ по куску и стали ѣсть его съ аннеитомъ. И вотъ его всего скушали, остались однѣ косточки...

„Господи Боже мой! сдѣлай меня опять мальчикомъ!“ была послѣдняя мысль бѣднаго зайки...

И что же? онъ вдругъ раскрылъ глаза: онъ все еще сидѣлъ, прикурнувшись, во ржи, а что онъ былъ зайцемъ—ему только приснилось!

Какъ обрадовался мальчикъ—нечего и говорить. Онъ никому не сказалъ ни слова о своемъ снѣ; но всѣ: и родители его, и другія дѣти, не могли надивиться, что вдругъ случилось съ маленькимъ вортунномъ, какинъ онъ сталъ съ тѣхъ поръ послушнымъ, стоворчивымъ, веселымъ!...

Вотъ вамъ и вся сказка о мальчикѣ-зайкѣ.





## ПРИКЛЮЧЕНІЕ ВЪ ЛѢСУ.



ождь лить ливня, какъ изъ ушата. Ели качали головами и толковали межъ собой:

— Кто бы сказалъ это поутру!

Съ деревъ капало въ кустарникъ, съ кустарника въ траву, а изъ травы, между каменьями и мхомъ, разбѣгались безчисленные мелкіе ручьи. Лить стало сейчасъ послѣ обѣда, а теперь уже стемнѣло, и зеленая лягушка, передъ сномъ взглянувъ еще на погоду, сказала сосѣдкѣ:

— Помни мое слово: до утра не перестанетъ.

Того-же мѣсяца была и муравьяха, пробиравшаяся въ эту непогоду черезъ чащу. Она спозаранку еще собралась съ яйцами въ Ельниково на рынокъ и теперь возвращалась домой, съ выручкой въ синемъ холщевомъ мѣшечкѣ. На каждомъ шагу она брѣвкала и вздыхала:

— Прощай, платье, да и шляпка въ придачу! Хоть бы зонтикъ съ собою захватила, или, по крайней мѣрѣ, калоши надѣла! А то не угодно-ли гулять въ таковой ли-вень да еще въ промерзлыхъ сапожкахъ.

Говоря такъ, она увидѣла въ потемкахъ, какъ разъ у себя передъ носомъ, большой грибокъ и, обрадовавшись, укрылась подъ нимъ.

— Какъ на заказъ!—сказала она:—лучшаго навѣса и не найти. Тутъ и просижу, пока перестанетъ лить. Видно, здѣсь нѣтъ жильцовъ—тѣмъ лучше! Сейчасъ устроимся по своему.

Сказано—сдѣлано. Едва, однакоже, сняла она сапожки, чтобы вылить дождевую воду, какъ замѣтила у входа стройнаго кузнечика съ скриничкой за спиною.

— Здравствуйте, сударыня!—сказалъ кузнечикъ:—не разрѣшите-ли войти?

— Сдѣлайте одолженіе!—отвѣчала муравышка:—вдвоемъ все-же будетъ веселѣе.

— А я,—сказалъ кузнечикъ,—заигрался нынче въ шашки; не хотѣли, вишь, отпустить: „играй, моль, да играй.“ Ну, и запоздалъ; благо, хоть есть гдѣ переночевать. Погода-же страсть какая, и другаго ночлега, пожалуй и не сыскалъ бы.

Съ этими словами кузнечикъ снялъ съ плечь скриничку и присосѣдился къ муравышкѣ. Тутъ вдали заблестать огонекъ. При приближеніи, онъ оказался фонарикомъ въ рукѣ свѣтляка.

— Будьте добры!—сказалъ свѣтлякъ съ вѣжливымъ поклономъ;—пустите переночевать. Собрался-то я собственно въ Моховой Ключъ къ двоюродному братцу, да вотъ сбился съ пути и никакъ не выберусь изъ чащи.

— Милости просимъ!—отвѣчали оба. — По крайней мѣрѣ, у насъ будетъ даровое освѣщеніе.

Свѣтлякъ охотно послѣдовалъ приглашенію и поста-



вилъ свой фонарикъ на столъ. Свѣтъ огонька вскорѣ приваилъ къ нимъ новаго пѣшехода, довольно неуклюже перелазивавшагося черезъ мохъ и травы. То былъ крупной породы жукъ. Онъ ввалился подъ навѣсъ, даже не подозревавшись ни съ кѣмъ.

— Ага!—сказалъ онъ только,—значить, я все-же не ошибся, попалъ какъ разъ на постоялый дворъ.

И, широко разсѣвшись, онъ преспокойно досталъ свой дорожный мѣшокъ и принялся за ужинъ.

— Да-съ,—говорилъ онъ,—какъ день деньской-то такъ пропидишь дрова, такъ всякій кусъ придется по вкусу.

Отдушавъ, онъ набилъ себѣ трубку, велѣлъ свѣтляку позвать огня, закурилъ и сталъ съ наслажденьемъ тянуть дымъ.

Между тѣмъ на дворѣ совсѣмъ стемнѣло, и погода разыгралась пуще прежняго; тутъ, ко всеобщему удивленію, прибыла еще одна поздняя гостья. Уже долгое время доносилось издали какое-то странное пыхтѣнье; оно медленно приближалось, пока наконецъ подъ грибомъ не показалась совсѣмъ запыхавшаяся улитка.

— Вотъ что называется бѣгомъ бѣжать!—сказала ова, отдушавъ:—драла, что тысячаножка, даже подъ железной закололо. Дѣло въ томъ, что мнѣ необходимо слать крайне нужное письмо тутъ по сосѣдству. Но всему есть мѣра—и здѣсьнымъ силамъ, особливо если тащешь еще на себѣ домъ свой. Съ позволенія вашего, господя, я часокъ-другой здѣсь отдышусь; а тамъ опять поскочу во всю прыть, будто съ машиной въ перегонку.

Никто не считъ нужнымъ возражать, и она расположилась на порогѣ своего жилища, достала чулокъ и принялась вязать.

— Да что-жь это мы, господя?—заговорила тутъ муравьяха,—сидимъ да скучаемъ, когда могли бы пріятно убить время? Вотъ хотя бы рассказывать по очереди

что-нибудь или въ фанты поиграть... А то еще лучше... Господишь кузнечикъ! я вижу: у васъ скрипка. Если вы не очень устали, то не сыграете-ли намъ веселенькой пюгучки, а мы бы потанцовали?

Предложеніе муравьяхи нашло всеобщее одобреніе. Кузнечикъ же не дать долго просить себя, приюстился сейчасъ съ своей скрипичкой на середку и заигралъ самый веселый танецъ, какой только знаетъ, а прочіе заверглись вокругъ него. Одна только улитка отказалась:

— Мнѣ докторъ мой запретилъ танцовать, — сказала она: — сейчасъ голова закружится. Но вы, господа, пожалуйста, не стѣсняйтесь, танцуйте на здоровье; я охотно погляжу, да немножко покритикую.

Тѣ и не стѣснялись и подняли такой гвалтъ, что за три шага было слышно. Но, увы! какимъ ужаснымъ, неожиданнымъ пассажемъ разыгрался вдругъ ихъ праздникъ! Грибъ, подь которымъ бѣсновалась честная компанія, принадлежалъ, позволите видѣть, старой жабѣ. Въ ясные дни она воссѣдала на верху, на крышѣ, по обычаю жабъ; въ дурную же погоду забиралась подь самый грибъ, и тутъ хоть лей отъ Троицы до Рождества — ей и горя мало.

Нынче послѣ обѣда жаба эта отправилась на сосѣднее болото къ кумѣ своей, лягушкѣ, и за кофеемъ съ свѣжими булками до того заболталась, что не замѣтила, какъ и смерилась. Теперь въ темнотѣ она тихомолкомъ приплелась домой. На лѣвой рукѣ у нея висѣлъ ридикюль съ вязаньемъ, а въ правой она держала красный дождевой зонтикъ съ мѣдной ручкой. Заслышавъ суматоху въ своемъ домѣ, она стала подкрадываться еще осторожнѣй; такимъ образомъ непрошенные гости увидѣли ее только тогда, когда она очутилась уже посреди ихъ.

Но ужъ зато какъ они и переполошились! Жукъ съ испугу бухнулъ навзничь и барахтался мнѣнѣе пяти, пока не поднялся опять на ноги. Свѣтлякъ такъ растерялся,



что забылъ даже задуть свой фонарикъ, чтобы въ темнотѣ улизнуть. Кузнечикъ въ половинѣ такта уронишь свою скрипку на земь. Муравыиха падала изъ обморока въ обморокъ; и даже у улитки, которая въ другое время не легко теряла присутствіе духа, слѣзлось сердцебиеніе. Но она скоро пришла въ себя, встала въ свой домикъ, зашелкнула за собою дверь и сказала:

— Будь что будетъ! Я никого не принимаю.

Но еслибъ вы слышали, какъ жаба отдѣлала бѣдняжекъ!

— Ишь, разбойники!—гнѣвно закричала она, замахиваясь зонтикомъ:—славные гости, нечего сказать! откуда васъ нелегкая принесла? Кабакъ у меня адѣсь, что-ли, для бродягъ и уличныхъ музыкантовъ? Не даромъ говорила я: только тронься изъ дому—весь домъ вверхъ дномъ! Сію минуту складывайте ваши узлы и проваливайтесь по добру по здорову; не то навострю я вамъ лыжи!

Что тутъ было дѣлать? Бѣдняги не посмѣли даже шепнуть, молча сложили свои пожитки, кликнули улиткѣ въ замочную скважину, чтобы шла тоже съ ними, и когда и та собралась, пустились всѣ вмѣстѣ въ путь-дорогу.

То-то было жалкое шествіе! Впереди шель свѣтлякъ, чтобы свѣтить, за нимъ жукъ, за жукомъ муравыиха, за нею кузнечикъ, а въ хвостѣ процессіи улитка. Жукъ, у котораго были крѣпкія легкія, кричалъ то и дѣло:

— Эй! нѣтъ-ли тутъ харчевни?

Но какъ ни кричалъ онъ—все напрасно. Когда они отошли немножко, то замѣтили, что улитка уже нѣтъ съ ними. Они принялись хоромъ окликать ее:

— Ау, улитка! Живѣе, матушка!

Но отвѣта не было. Улитка, видно, отстала уже на столько, что не могла ихъ слышать. Умыло пошелось они далѣе, пока, послѣ долгаго странствія, не нашли



подъ коравымъ древеснымъ корнемъ сносно-сухое мѣстечко. Тутъ и провели они ночь въ большой тревогѣ и почти безъ сна. Они, правда, отдѣлались однимъ страхомъ, но приключеніе было такъ ужасно, что никто изъ нихъ не забудетъ его во вѣки.



## МИНДАЛЬ-ДВОЙЧАТКА.



поднести ему половинку миндаля - двойчатки, а сама скушает другую половинку.

— И еслибы ваше высочество, — говорить, — съ сего часа могли похвалиться, что я ваяла что-нибудь из ваших рук, и не сказала притомъ: „Помню, помню!“, то двумъ миндалинкамъ быть вмѣстѣ, и мнѣ идти съ вами подъ вѣнецъ. Еслибы, напротивъ, мнѣ удалось вручить что-нибудь вашему высочеству и вы не вспомнили заветнаго словечка, то головунка ваша безусловно остригается до-гола, и сами вы не медля убираетесь во-своиха.

Уговоръ-же этотъ былъ съ заговоздкой. Дѣло въ томъ, что по придворному этикету никто вообще не смѣлъ подать что-нибудь изъ рукъ въ руки красавицъ - принцессъ, под страхомъ смерти; подавалъ-же всякій сперва

стать-дамѣ, а та уже передавала принцессѣ. Но когда сама принцесса хотѣла что -нибудь взять или передать, то кто могъ ей это возбранить? Такъ -то женихамъ не забава выходила, а мука. Какъ ни бились они, чтобы заставить принцессу добровольно принять что-нибудь изъ ихъ рукъ, всегда подвернется статсъ-дама и разстроитъ самый хитрый планъ. А захочетъ принцесса отдѣлаться отъ жениха, — цѣлый день она прелюбезна съ нимъ, пока въ конецъ не очаруетъ; когда-же онъ подойдетъ къ ней, отъ счастья самъ не свой, она, какъ-бы невзначай, схватитъ со стола какую-нибудь вещьцу, гранатовое яблоко, что-ли, или личко, и скажетъ тихонько:

— Вотъ вамъ на память отъ меня.

Но только принцъ возьметъ вещьцу въ руки, помня еще, пожалуй, спасительное словечко, какъ вдругъ вещьца распадется пополамъ, и въ кудри ему нырнетъ оттуда лягушка, оса или летучая мышь, такъ что онъ въ испугѣ откинется назадъ, да съ испугу и забудетъ словечко. Тутъ его, голубчика, подъ гребенку и маршь—домой!

Такъ это велось изъ году въ годъ, и во всѣхъ королевскихъ домахъ принцы обзавелись уже париками (съ тѣхъ поръ и парики вошли въ моду). Случилось тутъ разъ одному иноземному королевскому слугѣ проѣзжать той страной по своимъ дѣламъ и мимоходомъ увидать миндальную принцессу. Она ему очень приглянулась, и онъ тутъ же раскусилъ заговору. Но ибкій добрый волшебникъ подарилъ ему такое яблоко, которое ему можно было нюхать разъ въ годъ, и тогда его осѣняла счастливая мысль. Такъ онъ своимъ остроуміемъ и прославился уже у всѣхъ королей. Теперь-же какъ разъ подошло время яблока; онъ понюхалъ его и мигомъ смекнулъ: „чтобы перехитрить ее, тебѣ ни подъ какимъ видомъ не слѣдуетъ ничего ни брать отъ нея, ни подавать ей. „Вотъ онъ и далъ завязать себѣ обѣ руки за поясъ, представился съ



своимъ гофмаршаломъ ко двору и заявить, что желалъ-бы тоже миндалинки откушать. Принцесса, которой онъ также пришелся очень по сердцу, велѣла подать ему миндалинку. Но миндалинку принялъ его гофмаршалъ и сунулъ ее ему въ ротъ. Тогда принцесса спросила, что-же это значить, и съ какой стати вообще у него руки за поясомъ?

Онъ отвѣчалъ, что при ихъ дворѣ обычай этотъ соблюдается еще строже, чѣмъ здѣсь: что онъ не смѣетъ ничего не только брать, но и подавать руками,—развѣ ногами или головой.

Принцесса разсмѣялась:

— Въ такомъ случаѣ ни вамъ, ни мнѣ нашего заклада никогда не выиграть!

Онъ пожалъ плечами и отвѣчалъ:

— Развѣ вы сообразовали-бы принять что-нибудь съ моихъ сапогъ.

— Этого ужъ никогда не будетъ!—возопить весь дворъ.

— Зачѣмъ вы вообще пожаловали сюда,—прикрикнула на него, разсердившись, принцесса, — если у васъ такія глупыя привычки?

— Затѣмъ, что вы ужъ очень хороши, — отвѣчалъ принцъ;—хоть и не добуду васъ, такъ до-сыта нагляжусь.

— Этого я вамъ не могу запретить, — возразила принцесса.

Такъ принцъ остался при дворѣ и со дня на день являлся ей все болѣе. Но такъ какъ ей не хотѣлось сдаться безъ бою, то она на всякіе манеры подбивала его вынуть руку изъ подъ пояса и принять что-нибудь отъ нея. То и дѣло заговаривала она съ нимъ и дарила ему цѣбты, конфекты, флаконы съ духами, подъ конецъ даже свое запястье. У него не разъ тоже подергивало въ пальцахъ; но во-время всегда мѣшала ему перевязка, онъ приходилъ въ

себя, вить готмаршалу, а тотъ уже принималъ подарокъ и говорилъ:

— Помнимъ еще, помнимъ.

Потеряла наконецъ терпѣніе принцесса и вачала опять:

— Вошь я платокъ уронила! Не потрудитесь-ли ваше высочество поднять мнѣ его?

Принцъ подѣшилъ платокъ кончикомъ носка и сталъ махать имъ равнодушно. Принцесса наклонилась, приняла платокъ съ его ноги и тихо вскрикнула:

— Помню, помню!

Такъ минулъ годъ. Принцесса и говорить себѣ: „Долго-ли намъ эту канитель тянуть? Надо порѣшить такъ или сякъ“. И вотъ она опять обратилась къ принцу:

— У меня лучший садъ въ мѣрѣ; завтра я покажу его вашему высочеству.

Принцъ же понюхалъ опять свое яблоко, и когда сошелъ съ нею въ садъ, заговорилъ такъ:

— Здѣсь, въ самомъ дѣлѣ, чудно. Но чтобы намъ гулять съ вами въ полномъ мирѣ и согласьи, не вводя другъ друга въ искушеніе закладомъ, не найдете-ли вы возможнымъ, принцесса, принять на часъ времени обычай моего двора и дать тоже завязать себѣ руки?

Принцессѣ предложеніе было не совсѣмъ по душѣ; но она умоляла, и ей не хотѣлось въ такой малости отказать гостю. Такъ они разгуливали по саду другъ подлѣ друга, съ завязанными за спину руками. Птички пѣли, солнце грѣло, а съ дерева до самыхъ щекъ ихъ събивались алыя вишни.

Увидѣла ихъ принцесса и издохнула:

— Какъ жаль, что ваше высочество не можете хоть-бы одну сорвать для меня!

— На нѣтъ и суда нѣтъ, — отвѣчалъ принцъ, сорвалъ одну вишенку губами и подаль ее такъ принцессѣ.

Принцессѣ ничего не оставалось, какъ приложить свой



ротъ къ его рту, чтобы захватить вишню; когда-же вишня  
была у нея въ губахъ, да цоцклай его въ придачу, то ей



уже невозможно было тотчасъ вымолвить: „Помню, помню.“  
А ему того только и нужно было.



— Попалась, моя миндалинка! — воскликнул онъ, вынулъ руки изъ-за пояса и обнялъ ее за шею... И если они не померли, то живы и по сейчасъ.



## КАПЕЛЬКА.



Жакъ-то разъ подъ землею была капелька воды. Но такъ какъ тамъ было непроглядно темно, и она была одна одиношенька, то она соскучилась и пошла бродить подъ землею. Тутъ повстрѣчалась ей другая капелька, а тамъ еще одна, и еще одна, и всѣ онѣ пошли вмѣстѣ съ нею. Когда-же ихъ собралось такъ многое множество, и стало въ нихъ оттого много силы, то онѣ сказали

другъ другу:

— А что-бы намъ продѣлать наверху въ землѣ дыру— не увидимъ-ли солнышка?

И вотъ онѣ, точно, продѣлали дыру, и выглянули наверхъ, и увидѣли солнышко и голубое небо. О, какъ тамъ было хорошо! Отъ радости онѣ разыгрались, зажурчали. Услыхали то подъ землею другія капельки, не утерпѣли, захотѣли тоже солнышко увидѣть, потекли во слѣдъ.

— Смотрите-ка, что за чудный ключъ!—говорили дѣти, играющія тутъ-же, и стали черпать руками и пить славуную ключевую воду; но ея оставалось еще довольно, изъ земли прибывало капелекъ все больше и больше, неисчерпаемую струю. И не стало уже первымъ капелькамъ мѣста, и побѣжали онѣ впередъ, а за ними побѣжали другія; и вотъ, по травѣ змѣйкой заструился цѣлый ручеекъ!

Стояли по пути его всякіе цвѣточки: голубенькіе и бѣленькіе, желтые и алые, говорили ручейку:

— Ручеекъ, ручеекъ! Погоди-же немножко, поиграй съ нами!

— Некогда, любезные, — отвѣчать ручеекъ и бѣжать опять впередъ, куда глаза глядятъ.

Тутъ откуда ни возьмется другой ручеекъ:

— Здравствуй, — говорить, — братецъ, возьми меня съ собою!

— Пожалуй, пойдешь вмѣстѣ, — сказали нашъ ручеекъ.

И пошли они вмѣстѣ рука въ руку. Глядь, бѣгутъ опять новые ручейки, и всѣ просятъ съ собою. Нечего дѣлать, взяли они и ихъ съ собою, и выросъ оттого молодецъ молодцомъ.

— Эге! — говорили люди: — нашъ крошка-то ручеекъ сталъ, вѣдь, ни дать, ни взять, большой рѣкой! Какъ тутъ перейти?

Пришлось имъ выстроить мостъ.

— Да пусть же и работу намъ справить, муку помелить.

Наставили мельницъ, и принялась молодая рѣка своими могучими руками вертѣть колеса.

— Да не понесетъ-ли за насъ и грузъ?

Нагрузили великимъ добромъ корабли, и понесла ихъ сильная-рѣка на своей широкой спинѣ, далеко-далеко, отъ города къ городу, до самаго синята моря.

Здѣсь, въ синемъ морѣ, сходится на отдыхъ всѣ рѣки съ цѣлаго свѣта; отдохнуть — взлетѣть туманомъ къ небесамъ и скучаться въ облако. Когда-же земля изноетъ отъ жара, цвѣты и травы измучатся отъ жажды, то тысячи капелекъ вдругъ прольются изъ облака на земь, напоить, освѣжить зелень, а тамъ опять проберутся въ родную землю, откуда вышли.





## СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ.



Связка ключей больших и малых висела уже дѣтъ двадцать слишкомъ на одномъ и томъ-же стальномъ козачкѣ. Казалось-бы, что послѣ столь долгаго сожителства имъ-бы вѣрнѣе привязаться другъ къ другу; однакожь нѣтъ, напротивъ: они то и дѣло ссорились между собою, а иной разъ даже передирались, потому что лишь только, бывало, госпожа ихъ, хозяйка дома, возьметъ ихъ для употребленія, какъ всѣ они во все горло загремятъ другъ на друга. Причиной-же ихъ несогласія была чистая зависть и высокомеріе, потому что каждый ключъ воображалъ себѣ, что онъ самый важный, и ожидалъ всегда, что вотъ его-то и потребуютъ, когда брали всю связку; тому-же, на кого дѣйствительно выпадалъ выборъ,

прочіе завистники никакъ не могли того простить и находили, что ими пренебрегаютъ.

Разъ вся связка провала, и всѣ ключи были въ величайшемъ волненіи. Совсѣмъ противъ ихъ воли и желанія, они какъ-то сватались за комодъ и провалились тамъ всей компаніей въ довольно большую мышиную нору. Здѣсь

лежали они въ пыли и мразѣ и не могли даже пошевеливаться. Хотя имъ и ничего не было видно, но было слышно, какъ хозяйка наверху бѣгала по комнатѣ взадъ и впередъ, искала и горько жаловалась, что не можетъ найти своихъ ключей!

Ключамъ-же было еще тѣмъ досаднѣе, что каждый изъ нихъ знаетъ, какъ онъ важенъ и необходимъ. Всѣхъ больше выходилъ изъ себя ключъ отъ горки для серебра.

— Вотъ такъ бѣда!—говорилъ онъ:—нынче къ обѣду званы гости, а меня-то и нѣтъ! Ну, какъ имъ угощать гостей безъ серебра? Какъ имъ быть безъ приборовъ и содонокъ, безъ золотыхъ чайныхъ ложекъ и серебрянаго сливочника къ кофею? Это просто хотъ съ ума сойти!

— Ты вѣчно важничаетъ изъ пустяковъ! — замѣтилъ ключъ отъ бѣльеваго шкапа.—Безъ серебра-то еще можно обойтись; вѣдь, есть-же и будничные приборы, и это не помѣшаетъ гостямъ покушать вѣласть. Но что меня нѣтъ, вотъ это ужъ точно бѣда такъ бѣда! Ввечеру заходила прачка и забрала съ собой все грязное бѣлье, а я навѣрно знаю, что барыня наша не выдала еще чистаго столоваго бѣлья—вотъ тутъ и дѣлай, какъ знаешь! Не садиться-же гостямъ за ненакрытый столъ? Да барыня наша лучше живая въ гробъ ляжетъ! Я увѣренъ, что она по мнѣ всѣ глаза себѣ выплачетъ!

— Безъ тебя-то, пожалуй, все-же еще можно извернуться, — прервалъ плаксу ключъ отъ чулана; — но мое отсутствіе хотъ кого огоршить! Вѣдь, имъ теперь и обѣда-то не достать! Въ чуланѣ стоитъ вся провизія для кухни, и тамъ-же всѣ чудныя кушанья, что еще вчера изготовили для гостей.

— Э, что!—сказалъ ключъ отъ письменнаго стола:— о васъ обо всѣхъ и горя мало, кабы только я не пропалъ! Кушанья и все другое всегда можно достать, — были-бы деньги! Но въ томъ-то и горе, что деньги замкнуты мною,



и теперь, как меня ибѣть, они все равно, что нищіе. Бѣд-  
няжки! хотѣ-бы мнѣ какъ-нибудь голосъ подать и помочь  
имъ изъ лихой бѣды!

— Пустяки! — сказала ключъ отъ платинова шкапа. —  
Такие богачи, какъ наши господа, ведѣть могутъ занять де-  
негъ, только-бы захотѣли. Но самое главное: имъ изъ дому  
нельзя ни шагу; ибѣть, барыня-то еще въ утреннемъ кофѣтъ  
и туфляхъ, и безъ меня ей не достать ни платья, ни ман-  
тиль! Если она убивается, то, конечно, обо мнѣ.

Тутъ все другіе ключи напали на ключъ отъ плати-  
нова шкапа, потому что его-то они считали всегда самымъ  
неважнымъ, а онъ, вишь, поднять голову выше всѣхъ,  
точно объ его пронажѣ всего болѣе горюють. Они заорали  
въ одинъ голосъ и сторяча налѣрно передрались-бы, еслибъ  
мышинная нора, въ которой они засѣли, не была ужъ слиш-  
комъ тѣсна.

Но вдругъ все разомъ замолкли, потому что услышали  
наверху въ комнатѣ голосъ хозяйки и не хотѣли проро-  
нить ни слова изъ того, чтѣ она скажетъ. Каждый ключъ  
ожидалъ, что вотъ она станетъ громко плакаться объ немъ  
и такимъ образомъ поможетъ ему въ побѣдѣ надъ другими.

Хозяйка была не одна; кромѣ ея шаговъ, ключамъ были  
слышны тяжелые сапоги мужчины. Вотъ она опять заго-  
ворила—чшш! слушайте!

— Ну, вотъ, любезнѣйшій, — говорила она, — теперь  
остается тебѣ отомнѣть еще одинъ послѣдній замокъ—къ  
письменному столу; и я, конечно, могу разсчитывать, что  
ты доставишь мнѣ новые ключи сегодня-же вечеромъ или,  
никакъ не позже, какъ завтра поутру?

— Будьте покойны, сударыня, — отвѣчалъ слесарь;—  
можете на меня положиться. Кому пріятны открытые замки?

Затѣмъ хозяйка съ слесаремъ вышли изъ комнаты.

Ключи-же остались неподвижны и ибѣть, потому что  
совсѣмъ растерались. „Новые ключи“ — сказала хозяйка;



стыло бить; ихъ отрубили, отъ нихъ отреклись, не смотря на ихъ важность и необходимость!

— И вотъ вся благодарность людская за двадцатилѣтнюю вѣрную службу! — промолвилъ наконецъ съ грустью ключъ отъ письменнаго стола.

— Неужто-же намъ теперь вѣки вѣчные такъ и пролежать здѣсь въ мышиной норѣ? — загремѣлъ, ижъ себя отъ досады, ключъ отъ серебра.

Опъ угадать. Связка старыхъ ключей осталась въ мышиной норѣ навсегда, и тамъ у нихъ времени довольно спорить о томъ, кто изъ нихъ важнѣе.



## МИРЪ ДОМОВЫХЪ.



стѣлый, изъ послѣднихъ силъ,  
Я разъ по улицамъ бродилъ.  
Глухая ночь и дождь ручьемъ,  
Не разглядѣть ни зги крутомъ.  
Ни самый слабый звѣздный лучъ  
Мнѣ не мерцалъ изъ черныхъ тучъ.  
Тутъ всталъ и выросъ предо мной  
Домино съ выѣзской большой,  
И называющей мой изоръ

Узнать въ немъ постоялый дворъ.

Благодаренье-же, Творецъ:

Отдохновение наконецъ!

Я постучался у воротъ.

Задвижка щелкнула—и вотъ

Сверкнули злобно два глазка;

Межъ нихъ—носище старика.

„Ишь, расшумѣлся карапузъ!

Чего тебѣ и кто ты, ну-съ?“

— „Отецъ родной!“ измолвися я,

„Хоть на ночь приюти меня.“

Онъ странно такъ захохоталъ:

„Да домовыхъ ты не видѣлъ?“

Вѣдь, на смерть перетрусилъ, чай?“

— „Не струшу; уголокъ лишь дий.“

— „Не струсилъ? Такъ войди, дружокъ;  
Тогда найдется уголокъ.“ —

Впустилъ. При свѣтѣ почника

Я разглядѣлъ тутъ старика:

Сѣдой и худенькій такой;

Но, оказалось, не злой:

И накормилъ, и напоилъ,

О всемъ подробно спросилъ:

И лѣтъ какихъ, и какъ учусь.

Потомъ повелъ въ комнату:

„Ну-съ,

Боль хочешь ты заснуть теперь,

Такъ не заглядывай въ ту дверь:

Насталъ урочный часъ духовъ.

Прощай, сынокъ мой, будь здоровъ.“

Въ постель улегся я, притихъ,

Но глазъ не смѣлъ сомкнуть своихъ.

Густой, безмолвный мракъ вокругъ,

А за стѣною рядомъ — стукъ,

И гамъ, и громъ, прямой содомъ,

Какъ-бы весь домъ пошелъ вверхъ дномъ.

То поскребеть, то проскрипнуть,

То подбѣжить, то отбѣжить,

То промелькнетъ нѣмой толпой

Тѣней какихъ-то предо мной.

Ай! кто-то за ногу рванулъ;

Ай! кто-то за ухо щипнулъ.

Тутъ дернеть, тамъ потеревить,

Съ постели такъ и волочить,

И, словомъ, какъ — не знаю самъ,

Поволокло меня къ дверямъ.

Глажу я въ щелку; лунный свѣтъ

Мнѣ освѣщаетъ кабинетъ



Весь въ полкахъ, а на нихъ вокругъ  
Горшки, кувшины, фляжки... Вдругъ—

Все взорохнулось,  
Все встрепенулось!  
Пошла забава:  
Что ни посуда—  
То носъ лукаво  
Глядитъ оттуда;  
Что шкальчикъ-плоска—  
То мальчикъ-крошка;  
Что пузыречекъ—  
То шалуночекъ,  
Что банка, стеклянка,  
Горшечекъ,  
Кружка—  
То человѣчекъ,  
Живая душка.

И съ гикомъ,  
И съ крикомъ,  
Изъ плоски,  
Изъ кружки,  
Какъ мошки,  
Какъ мушки,  
Повыползли крошки,  
Повылѣзли душки,  
И ставили ножки  
Другъ дружкѣ;  
И ропотъ,  
И шопотъ,  
И грохотъ,  
И хохотъ,  
И пискъ,  
И визгъ!

Тутъ царственный голосъ внушительнымъ тономъ  
Скомандовать:

„Смирно въ предѣ Оберономъ!“

И пороховъ задымъ,  
Во фронтъ мелюзга моя стала послушно,  
И подданнымъ такъ говорилъ благодушно

Царекъ домовыхъ:

„Привѣтствую васъ, мои вѣрные друзья,  
Любезныя дѣти, полезные слуги!  
Исправно со всѣхъ меридиановъ земли  
Сюда ны на первый мой зовъ притекли.  
Вы, гении воздуха, солнца и сѣва  
(Поклономъ отъѣтили сѣльфы на это),  
Вы, гении рѣкъ и озеръ и морей  
(Толпа преклонилась русалокъ и фей),  
Вы, гении пламени, силы подземной  
(Рой гномовъ склонился съ степенностью скромной),  
Дозоромъ прошесть я послѣднюю ночь:  
Утѣшить гдѣ есть вамъ и есть гдѣ помочь.  
Вотъ въ душевной коморкѣ лежить на кроваткѣ  
Больная малютка—дрожать въ лихорадкѣ:  
Скорѣй утолите-ка жажду больной  
Цѣлебнымъ напиткомъ—живою водою.  
Вотъ раненый воинъ на полѣ сраженья:  
Варите-ка травы, варите корни,  
Чтобъ въ рану езея ему накропить,  
Отечеству сына опять подарить.  
Вотъ мать изнываетъ, и смерть уже строго  
Глядитъ изъ-за двери и ждегъ у порога;  
Гоните злодѣйку, гоните скорѣй!  
Спасите безцѣнную мать для дѣтей.  
Вотъ старецъ, вотъ дѣва, вотъ юноша страдаетъ,  
Отъ васъ отъ однихъ исцѣленія жаждетъ,

Отъ добрыхъ духовъ, благодѣтельныхъ фей...  
Бѣгите! спасайте! живѣе, друживѣй!<sup>2</sup>

Лишь скомандовать такъ  
Имъ царѣть,  
Лишь перстомъ подать знакъ,—  
Со всѣхъ ногъ  
Крошки врозь разметались,  
По угламъ разбѣжались.  
Не прошло двухъ минутъ—  
Всѣ опять уже тутъ,  
Всякій зацѣпить свой кладъ:  
Чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ.



Впереди всѣхъ идетъ потогонный *Шалфей*,  
Съ надушенной до нѣльзя сестрицей своей  
*Камоmilлой-Ромашкой*;  
Велѣдъ бредеть, спотыкаясь, мечтательный *Макъ*  
Съ полной опія чашкой;  
Вотъ валять съ никотиномъ поттенный *Табакъ*  
(Расчихались тутъ прочія травы,  
А царѣкъ пожелалъ: „Будьте здравы!<sup>2</sup>“);  
Вотъ бѣгутъ,  
Волокутъ  
Лучшій цвѣтъ свой и сокъ  
И красавецъ *Вьюнокъ*,  
И нарядная модница-травка  
*Горечавка*;



Вотъ пришлёлся, шатаясь, и пыльный буянъ—  
 Безшабашный *Дурманъ*;  
 Вотъ *Аванъ*,  
 Этотъ „*Посланный Божій*“;  
 Вотъ грибовъ цѣлый хоръ,  
 Во главѣ—*Мухоморъ*  
 Краснорожій.



Карды-гномы межъ тѣмъ молчаливо несутъ  
 Изъ своихъ тайниковъ сокровенныхъ  
 Разныхъ рудъ  
 И солей драгоценныхъ.

Напослѣдокъ, когда чародѣйственный міръ  
 Весь ужъ стекся, явились два братца—  
 Вертопрахъ *Алкоголь* и летучій *Эфиръ*:  
 „Кому надо насъ? ради стараться!“



И пошла-же возня тутъ—погѣха!  
 За работу взялись, какъ для смѣха:

Руды смачивали,  
 Ломомъ скалывали,  
 Оборачивали,  
 Расколачивали,  
 Перемалывали;  
 Изъ стручкововъ  
 Да мѣшечковъ,  
 Изъ костянокъ  
 Да сѣмянокъ,  
 Изъ кубышекъ  
 Да изъ шишекъ—  
 Медь выдавливали  
 Да выплавливали,  
 Изъ кореньевъ  
 Да изъ мочекъ,  
 Изъ череньевъ  
 Да изъ почекъ,  
 Изъ листочковъ,  
 Лепесточковъ  
 Мотыльковыхъ,  
 Язычковыхъ,  
 Толстогубчатыхъ,  
 Длиннотрубчатыхъ,  
 Мелкокольчатыхъ,  
 Колокольчатыхъ—  
 Сокъ высасывали  
 Да вываривали,  
 Дронь подбрасывали,  
 Да выпаривали;  
 Перетаскивали,  
 Переключивали,

Выполаскивали,  
 Закодучивали;  
 Въ стеклянкахъ встряхивали,  
 Перемѣшивали,  
 Пыль обмахивали,  
 Перевѣшивали,  
 Запечатывали  
 Да обматывали.



А вокругъ благоуханія  
 Чуть дыханія  
 Не захватывали.

Оберонъ-же метался, разиѣдываль,  
 Веѣ-ли порціи  
 Приготовлены въ должной пропорціи,  
 Всякой смѣси отвѣдываль,  
 Да шмадикивалъ,  
 Своимъ „Rescra“ только поддакивалъ.

Не успѣлъ я еще хорошенечко  
 Приглядѣться, очнуться маленьечко,  
 Какъ работы ужъ всѣ были справлены:  
 Порошки и микстуры припращены,  
 Золотыя пилюли накатавы,  
 Свертки сматаны,  
 Мази смазаны,



Всѣ-то сткляночки,  
 Всѣ-то баночки  
 Ярлычекъами  
 Да шнурочками!



Перезаны;  
 Въ ярлыкахъ-же, кому какъ приказано,  
 Число ложекъ подробно показано.

Оберонъ лишь глядѣть да поглядывать,  
Только руку прикладывать,  
Приговаривать:  
„Помогло-бы лишь такъ, какъ заваривать!“



Туть пробило часъ—и видѣнье  
Разсѣялось въ тоже мгновенье.  
Я снова въ постели, и прежняя мгла  
Въ коморѣ вокругъ. Но я мыслить: „Хвала  
Тому, Кто больнымъ исцѣленье  
При помощи идолъ смертельныхъ даетъ,  
Изъ глина и пагубы жизнь создаетъ.  
Чтобъ миръ Его помнитъ и славить,  
Онъ добрыхъ духовъ къ намъ приставить.“  
Такъ гдѣ-же, скажите, я ночь-то провель?  
У добрыхъ духовъ челоука,  
Волшебниковъ нашего вѣка;  
Поутру, на улицу выйдя, прочель  
Я надпись надъ входомъ:



## МАЛЕНЬКАЯ ГОРБУНЯ.



Маленькая Горбуня была у своей матери единственная дочка, такая крохотная и блѣденькая, да и кой-чѣмъ отличная отъ другихъ дѣтей; потому что когда мать выходила

съ нею изъ дому, народъ часто останавливался, глядѣть вслѣдъ за малюткой и о чемъ-то шептался. Когда-же дѣвочка затѣмъ спрашивала, почему на нее такъ странно смотреть? мать всегда отвѣчала:

— А потому, вѣрно, что у тебя такое хорошеенькое платьице.



Но, по приходѣ домой, мать брала дочку на руки, дѣлала ее безъ конца и говорила:

— Милая ты моя, душечка, ангельчикъ мой! что будетъ съ тобою, когда я умру? Никто, даже и папа твой, не знаетъ, что ты за ангель Божій.

Разъ мать сильно расхворалась, а на девятый день и померла. Отецъ дѣвочки въ отчаяннѣ бросился къ одру покойницы и хотѣлъ, чтобы его похоронили вмѣстѣ съ нею. Но друзья стали уговаривать и утѣшать его; и вотъ онъ успокоился, а годъ спустя взялъ себѣ другую жену, и красивѣе, и моложе, и богаче первой, но далеко не такую добрую.

Съ тѣхъ поръ, какъ померла ея мать, дѣвочка съ утра до вечера сидѣла дома на подоконникѣ; потому что никто теперь не шель съ нею гулять. Она стала еще блѣднѣе, а выроси—такъ въ послѣднемъ году вовсе не выросла.

Когда-же пришла въ домъ новая мать, дѣвочка подумала: „Ну, теперь мы опять пойдемъ гулять, за городъ, по теплomu солнышку, по усыпаннымъ дорожкамъ, гдѣ растутъ такіе красивые кусты и цвѣты, и ходить такъ много разряженныхъ людей.“

А жили они въ маленькомъ, тѣсномъ переулкѣ, куда солнце заглядывало рѣдко, и гдѣ, првсѣвъ на подоконникъ, можно было видѣть только клочокъ голубаго неба, не больше носоваго платка. И точно, новая мать уходила изъ дому каждыи день, передъ обѣдомъ и послѣ обѣда. При этомъ она надѣвала всегда пренарядное пестрое платье, куда наряднѣе, чѣмъ были платья у старой мамы. Однако дѣвочку нашу она никогда не брала съ собою.

Тутъ малютка собралась наконецъ съ духомъ, и стала убѣдительно просить ваять ее хоть разъ съ собою. Но покаяма иогрѣвъ отказала ей:

— Что ты, съ ума, кажется, сошла!—сказала она.— Что люди-то подумаютъ, когда я покажусь съ тобой? Вѣдь,

ты совсѣмъ горбата. Горбатыя дѣти никогда не гуляютъ, они всегда остаются дома.

Тогда дѣвочка примолкла; когда-же новая мать вышла вонъ, она встала на стулъ и стала оглядывать себя въ зеркаль; и въ самомъ дѣлѣ, она была горбата, ухъ, какъ горбата! Тогда она привѣла опять на свой подоконникъ, стала смотрѣть на улицу и задумалась о своей доброй старой мамѣ, которая брала-же ее съ собой всякій день. Потому она раздумалась опять о своемъ гробѣ:

„А что такое внутри его?“ говорила она себѣ: „вѣдь, должно-же что-нибудь быть въ такомъ гробѣ?“

Прошло дѣто, а какъ пришла зима, дѣвочка стала еще блѣднѣе и такъ ослабѣла, что не могла уже садиться на подоконникъ, а должна была всегда лежать въ постели. Когда-же подсиѣжники высунули первые свои зеленые отпрыски изъ земли, къ ней пришла ночью старая добрая мама и стала рассказывать ей, какъ неспрашно-чуждо въ небѣ.

На другое утро дѣвочку нашли въ постели мертвою.

— Ну, полно плакать!—говорила новая мать мужу:— бѣдному ребенку такъ всего лучше!

На это мужъ ничего не отвѣтилъ, а только молча головою кивнулъ.

Когда затѣмъ дѣвочку похоронили, съ неба слетѣлъ ангелъ съ большими, бѣлыми лебедиными крылами, присѣлъ около могилы и стукнулъ въ нее, будто въ дверь. Тотчасъ-же вышла изъ могилы наша дѣвочка, и ангелъ рассказалъ ей, что пришелъ взять ее съ собой на небо къ старой мамѣ. Тогда дѣвочка робко спросила, что развѣ и горбатыхъ дѣтей пускаютъ въ небо? Она никакъ не могла себѣ этого представить, потому что на небѣ все такъ прекрасно и важно.

Но ангелъ отвѣтилъ:—Милочка ты моя! да вѣдь ты уже не горбата!



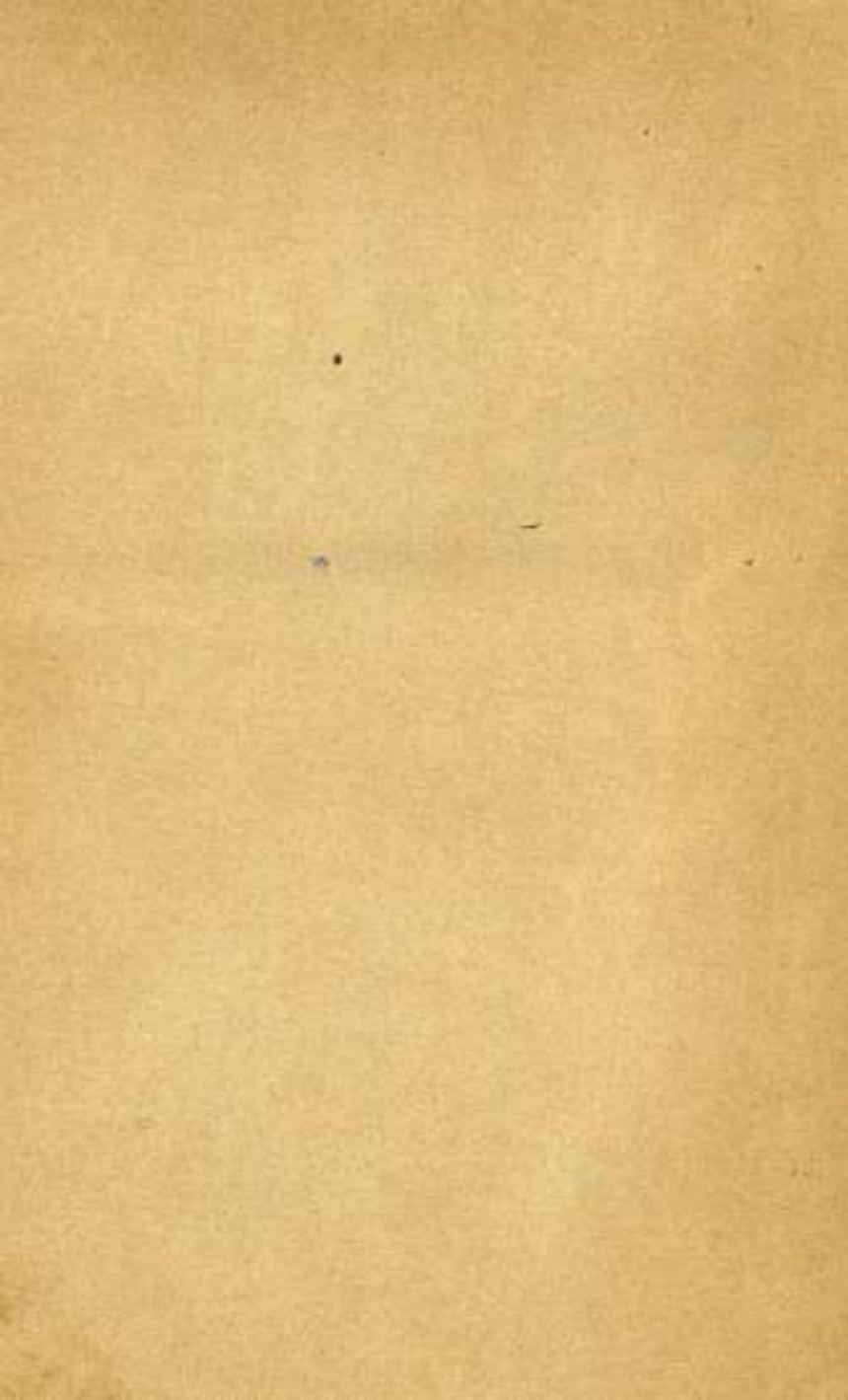
И онъ коснулся ея спины своею бѣлою рукою. Въ ту же минуту толстый гадкій горбъ отвалился, словно большая полая скорлупа.

И что-же было въ немъ?

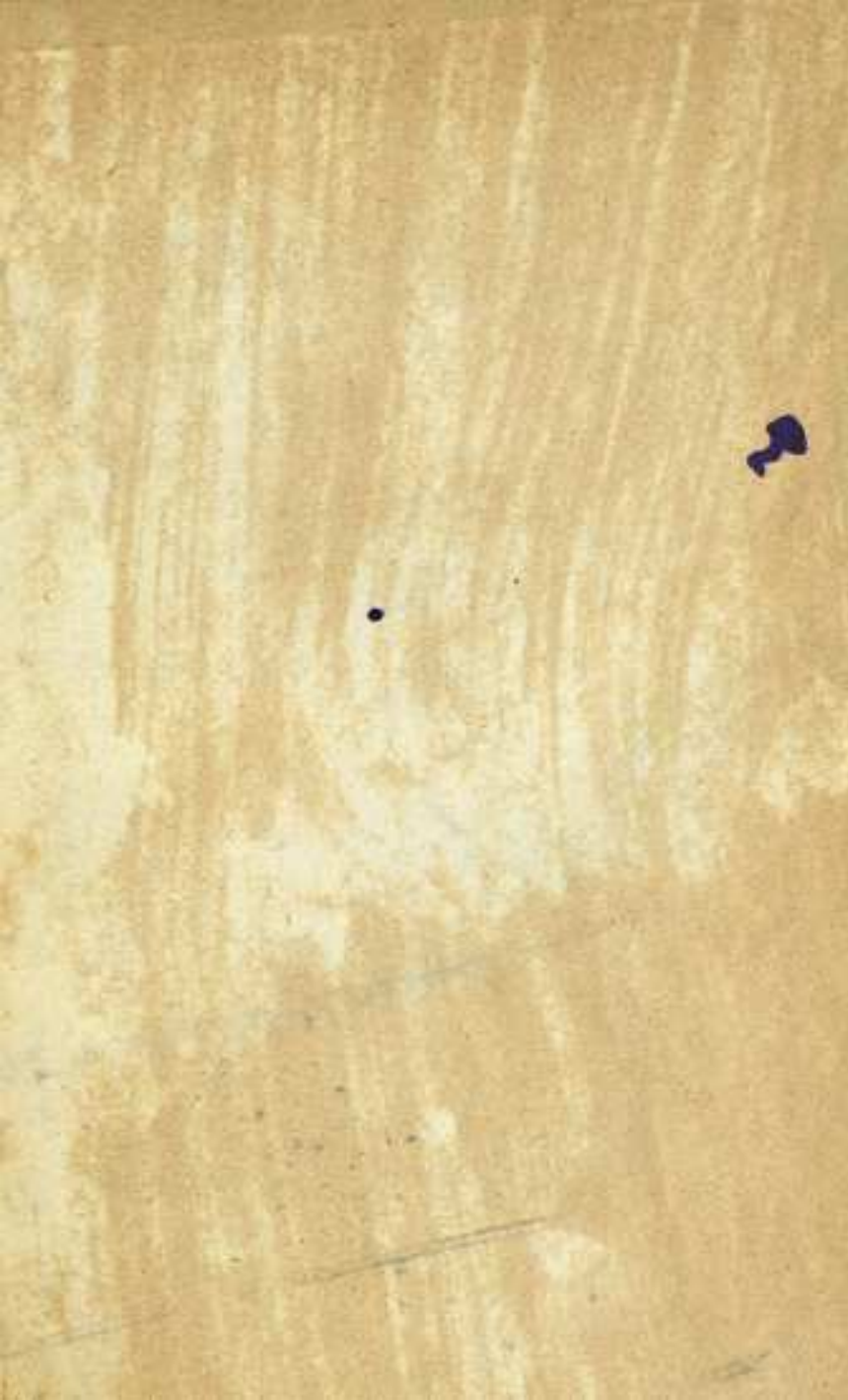
Два чудесныхъ, бѣлыхъ ангельскихъ крыла! Она выпустила ихъ, точно всегда уже умѣла летать, и излетѣла вмѣстѣ съ ангеломъ, вверхъ по сверкающимъ солнечнымъ лучамъ, въ голубое небо. А на самомъ высокомъ мѣстѣ сидѣла тамъ ея добрая старая мама и раскрыла ей на встрѣчу свои объятья. Она и полетѣла къ ней прямо на колѣни...















2007054938